

18+

АРТЁМ КРАСНОВ

БЛАБЕРИДЫ

2



Артем Краснов

Блабериды-2

«Издательские решения»

Краснов А.

Блабериды-2 / А. Краснов — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-984542-9

«Блабериды-2» — продолжение романа «Блабериды», а точнее, его органическая вторая часть. В ней Максим Грязин окажется в психиатрической клинике, но история с комбинатом «Заря» и умирающим посёлком Филино не отпустит его даже здесь. Будут Братерский, Алиса и, конечно, неутомимый капитан Скрипка, а также дюжина новых лиц. И да, будет вполне конкретная развязка. Больше никаких тайн.

ISBN 978-5-44-984542-9

© Краснов А.

© Издательские решения

Содержание

В предыдущих сериях	6
«Фомальгаут»	7
Губернатор	53
Конец ознакомительного фрагмента.	78

Блабериды-2

Артем Краснов

Фотограф Jayant Kulkarni

Дизайнер обложки Лилия Краснова

Редактор Надежда Сухова

© Артем Краснов, 2020

© Jayant Kulkarni, фотографии, 2020

© Лилия Краснова, дизайн обложки, 2020

ISBN 978-5-4498-4542-9 (т. 2)

ISBN 978-5-4498-4543-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

В предыдущих сериях

Если читали «Блабериды 1» недавно, смело пропускайте эту страницу. Если забыли первую часть, то ниже её изложение в девяти абзацах вместо 550 страниц (оказывается, можно было и так).

Журналист издания «Дирижабль» Максим Грязин знакомится с подозрительным, но деятельным директором страховой Сергеем Братерским, который втягивает его в лингвистический эксперимент. Результатом становится странное слово «блабериды», обозначающее «интеллигентную разновидность быдла» – людей ограниченных, суетливых, полуобразованных и веских в суждениях.

Максим, над которым нависла угроза увольнения, ищет крутую тему, чтобы показать себя руководству. Он увлекается историей объекта «Заря» вблизи посёлка Филино, жители которого умирают по непонятной причине. Попытки Максима разузнать что-нибудь о «Заре» приводят его к мысли, что объект является могильником радиоактивных отходов. С неохотного согласия главреда Максим пишет статью о Филино и возможных причинах высокой смертности. В этот момент стакер по кличке Гуилло предлагает ему залезть на «Зарю» и увидеть всё самому.

Вместо сталкера в назначенном месте Максима ждёт капитан ФСБ по фамилии Скрипка, который устраивает ему спонтанную «экскурсию» и предупреждает о рисках, если Максим продолжит свои изыскания. На «Заре» у Максима случаются странные видения.

На полтора месяца всё затихает, но в конце августа Максим переписывает статью заново в резком избобличительном ключе, называя этот вариант «чёрным». Он готовит его не для публикации: скорее, чтобы выпустить пар.

Через неделю по неясной причине вариант оказывается опубликован: Максим этого не помнит, но записи с камер говорят, что это его рук дело. Разгорается скандал, в результате которого власти публикуют информации о «Заре». Гипотеза о том, что она – хранилище радиоактивных отходов, оказывается ошибочной. Максима многие считают неадекватом, но из «Дирижабля» не увольняют, чтобы не привлекать к ситуации внимания.

Через месяц Максим увольняется сам и пешком уходит в Филино, где проводит три недели, собирая пробы и пытаясь разобраться в себе. Филино и его собственная биография кажутся связанными.

В конце концов Максим сильно простужается, у него начинаются галлюцинации, в которых он видит своего брата-близнеца и Алису, подругу бывшего босса Алика. Близнец и Алиса периодически появлялись в его снах и раньше, но если Алиса хотя бы существует, о брате Максим никогда не слышал. Между ним и Алисой существует какая-то связь.

Переболев тяжёлым воспалением лёгких, Максим возвращается домой, но супруга, Оля, устав от выходов мужа, предлагает ему пройти курс терапии в платной психиатрической клинике. Братерский ещё на заре их знакомства предупреждал, что если Максим захочет «убить блабериду в себе», закончит в психушке.

С этого переломного момента и продолжим.

«Фомальгаут»

– Всё о фотографии думаешь? – спросил Мец, затягиваясь и щурясь так, словно затягивался он и веками. – Бабы такие: с глаз долой – из сердца вон. Через неделю выйдешь – всех под лавку загонишь.

Дым от его папиросы скручивался и медленно вращался перед глазами. От голоса Меца дымная чаша вздрагивала и мялась, как глина.

– Где ты такие папиросы берёшь? – спросил я. – Их ещё в 93-ем должны были запретить вместе с химическим оружием.

– В 93-ем... – усмехнулся Мец. – Тебя ещё не было, поди, в 93-ем.

– Был.

Он приоткрыл форточку, и дым потянулся через решётку, целуясь с молочной пеленой. На улице мело.

– Не думаю я о фотке, – ответил я. – Оно само думается.

Мецу не нужно объяснять про навязчивые мысли. Они не спрашивают разрешения: просто селятся в голове и живут там, что бы ты ни делал. Тем более если делать нечего.

Эти мысли, как бедные родственники, стараются не мешать хозяевам и оттого всегда попадают на пути.

– Просто я чёртов параноик, – сказал я дыму, и дым уважительно расступился.

Мец кивнул. Навязчивые мысли были нашим общим знаменателем. Жилистый и насмешливый, как грузчик, Мец научился жить в их дыму и держать в известных границах. А я ещё принимал дым за что-то осязаемое.

В январе Оля стала ходить на теннисный корт, что вызывало у меня странную тревогу, как если бы она уехала одна в Турцию.

Я знал, что ответит на эти сомнения терапевт Лодыжкин. Он разделает ситуацию как рыбную тушку, выпустит ей потроха, отделит скелет, вынет кости из спины, а оставшуюся мякоть пропихнёт мне в глотку. Он подведёт меня к мысли, что виновата лишь моя неуверенность в себе.

Оля не занималась теннисом лет шесть, но оставалась преданной болельщицей спорта. В доме у нас всегда болталась пара жёлтых мячиков, в гараже висели ракетки, и один раз за лето Оля устраивала спарринг с гаражной стеной, жалуясь на окончательную утрату формы.

Я в теннис не играл, и, может быть, поэтому она бросила занятия. Их окончание совпало с началом нашей семьи, и сейчас этот факт обрёл для меня какой-то зловещий символизм.

Играл ли в теннис её великолепный Савва? Я не помнил, чтобы она упоминала об этом, но хорошо представлял Савву в белых шортах с пижонской повязкой на лбу. Если он играл, то играл великолепно. Может быть, они снова смотрели друг на друга через сетку, и Олина форма постепенно возвращалась...

– Вот! – вцепится в эту мысль Лодыжкин.

Вся цепочка этого бреда построена на ассоциациях и совпадениях, не отражающих реального положения дел. Если бы Савва возник на Олином горизонте, она бы не стала афишировать встречи с ним в «Инстаграме», рассудит Лодыжкин.

И чем занятия теннисом отличаются, допустим, от йоги или фитнеса, спросит он. «Чем отличаются? – нахмурится параноик внутри меня. – Может быть, тем, что для них нужен умелый партнёр?».

Но Лодыжкин не сдастся и уведёт разговор в область душевного состояния самой Оли. Она просто тоскует по мне. Ей нужен стимул.

Мне не давала покоя последняя фотография в Олином «Инстаграме». Это было селфи крупным планом, сделанное после дружеского матча, который Оля выиграла. У неё было счаст-

ливое лицо и загорелые плечи, и мелкие капельки пота выступали на висках. Волновала лишь пара мужских кроссовок на заднем плане и тяжёлая сумка, которая вряд ли по плечу ей или её напарнице, если только Оля не играет в теннис с укладчицей шпал.

Мы с Мецем поспорили насчёт кроссовок.

– Да бабские они, – настаивал он. – Гляди, шнурки белые.

– Сейчас парни так и носят. Вставки-то синие.

Насчёт сумки он заявил:

– Может, она с батей играет.

Может быть. Но Юрий Петрович играл совсем плохо, и вряд ли победа над ним вызвала бы восторг в Олиных глазах. Кого же она там одолела?

Лодыжкин намекает, что даже если Оля играет с парнем, это значит не больше, чем проезд в такси с водителем-мужчиной. А если она его обыгрывает, то не бог весть какой там парень. А ещё он скажет, что эти мысли – хороший повод разобраться в самом себе и так далее, и так далее. И, конечно, все мои страхи улягутся, как мецев дым.

Сам же Мец придерживался иных методов терапии:

– У тебя нож дома есть? Не, не эта китайская фигня с зазубринами. Нормальный нож, чтобы мясо резать? Вот. Сначала предьявишь его. Показать обязательно надо – ты же не мясник. Это же не просто в подворотне кого-то пырнуть. Тут чувства важны. Можно к шее вот так приставить, – он показал пальцами как. – А вот если не понимает, если вякать там начинает про честь и совесть – вот тогда бьёшь и дело с концом.

– Ты серьёзно, что ли?

– Конечно! – Мец кашлял, разрывая волокна дыма. – Тут смысл не в том, чтобы завалить его. Если ты готов ударить, это будет в глазах. Если готов – бить не придётся. Он к ней близко не подойдёт. Тем более ты из дурки. Ему до конца жизни икаться будет.

В такие моменты Мец был страшен и прекрасен. Глаза его просвечивали через дым.

Несмотря на очевидную бредовость, терапия Меца почему-то помогала, и я даже прикинул, какой из ножей лучше всего подходит для такой операции. После этого думать о снимке я перестал.

Мец был одержим ножами. С ножами была связана вся его жизнь: когда-то он работал на скотобойне, торговал охотничьим инвентарём, был инструктором ножевого боя, трудился на производстве ножей, а несколько лет назад переделал сарай своего дома в кузницу и занялся изготовлением ножей самостоятельно. Ковал он, должно быть, хорошо, потому что ножи пользовались спросом у охотников, и Мец даже разбогател.

Но дело было не в ножах. У Меца случались приступы ярости, которые он сдерживал со всё большим трудом. Кто-то нахамил ему в сельском магазине или грубо отогнал собаку, и Мец ощущал в своей ладони рукоять ножа и прикидывал, как лучше разделать эту тушу. Из его рассказов выходило, что особенно его воображение занимали крупные мужчины средних лет, современные короли жизни, на фоне которых сам Мец в свои пятьдесят с лишним выглядел подростком. Может быть, ему просто нравился эффект неожиданности: многим он действительно казался доходягой, хотя силён был невероятно.

Мец не терпел самодовольства и пренебрежения к себе. За это он в самом деле мог убить. Он думал об этом постоянно, и меня даже удивляло, почему он до сих пор не вспорол брюхо какому-нибудь чванливому ублюдку. Вряд ли это был страх последствий: в своей агонии Мец не думал о последствиях. Убийство было для него самоцелью вроде очищения огнём.

Но он держал своих тузов в колоде, может быть, потому, что не встретил ещё достойного короля.

Несколько месяцев назад у Меца появились клиенты из южных республик, заказавшие крупную партию ножей. Мец выполнил заказ, но их общение не прекратилось. Его слабость почувствовали и стали внушать идеи, которые падали на плодородную почву. Если Мец

научился умирять собственных гремлинов, то голос южной крови разбудил в нём что-то новое, что заставило его самого отшатнуться, взглянуть на себя по-другому и, в конце концов, обратиться в областной психоневрологический диспансер №7. Там ему предложили лечь на месяц в нашу клинику, расположенную по соседству, оплатив две трети счёта по целевой программе медпомощи жителям села.

Здесь, в клинике «Фомальгаут», Мец не столько слушал убаюкивающие речи терапевтов, сколько держал себя в добровольной изоляции. Он надеялся, что к его выходу южане отстанут или сам он смахнёт с себя это наваждение и станет просто кузнецом.

* * *

Официально заведение называлось клиникой пограничных состояний «Фомальгаут» при ГБУЗ «Областной психоневрологический диспансер №7». Оно было платной разновидностью стационара, по своему укладу напоминая санаторий средней руки. У клиники был свой физиотерапевтический корпус с залами для групповых занятий, скромная часовня слева от входа и неработающий фонтан на центральной аллее. Аллея вела к боковому входу, через арку которого я вошёл сюда с Олей и тестем в начале января.

Клиника делила территорию с самим диспансером, фасад которого выходил на соседнюю улицу Магаданскую. Его пятиэтажное здание вызывало у меня смутную тревогу белёными окнами первого этажа, вентиляционными трубами, похожими на присосавшихся червей, и ощущением, будто внутри обязательно должно пахнуть мокротами и унижениями всякого рода. В самом слове «диспансер» слышался дребезг захлопывающейся мышеловки. Я знал, что диспансер является аналогом обычной поликлиники и не имеет ничего общего с карательной психиатрией, и всё равно от его вида испытывал приступы безотчётного страха.

Зато клиника «Фомальгаут» сразу понравилась отпускной расслабленностью. Медсёстры были приветливы и носили интересную униформу, похожую на светлое кимоно, выглядели привлекательно и даже по-домашнему, словно только что из ванной. Запретов никто не устанавливал. В корпусе пахло обычной турбазой: немного стариками, немного едой, какой-нибудь мазью, но ничего критичного. После Нового года в комнате отдыха осталась кривоватая ёлка, а окна были украшены дождём, который скоро убрали из-за одного любителя этот дождь жевать.

Первые дни я в основном ел и спал, проваливаясь в забытье от чего угодно. Было удивительно, что человек может спать почти круглосуточно и где угодно: из моих знакомых таким талантом обладал только кот Вантуз.

В клинике лечились пациенты, страдающие депрессией, навязчивыми состояниями и посттравматическим синдромом. Очевидных «лунатиков» почти не было и за ними присматривали отдельно. Если состояние пациента резко ухудшалось, его переводили в другой стационар. Отдельный корпус был для людей, страдающих от зависимостей.

Заведующий клиникой Ситель любил рассуждать о принципе «первого психотического эпизода», который был идейной основой его методов. Ситель был убеждён, что, если пациентом заниматься после первых симптомов, достаточно самых мягких видов терапии. Ситель гордился, что даже проблемных пациентов не грузят медикаментами сверх необходимого.

Большая часть пациентов проводила в клинике от пары недель до месяца, но были и те, кто жил здесь по полгода – таких за глаза называли «вечными». Их родственники платили не за лечение, а за возможность оставить своих странноватых детей, братьев или жён под надёжным присмотром.

Корпус «Фомальгаута» имел три этажа и делился на две части: левое крыло отводилось женскому отделению, правое – мужскому. Мужчин было вдвое меньше, поэтому второй этаж нашего крыла занимали карантинные комнаты, медкабинет и вип-палаты, включая один семейный люкс, больше похожий на отельный номер.

В первые дни я общался в основном с клиническим психологом Анной Чекановой, заместителем Сителя, которая задавала самые обычные вопросы и прогнала меня через несколько тестов, название которых звучали как шаманское бормотание: тест Шульте, Шмишека, Бека, Роршаха, Люшера, Зонди... Некоторые тесты были интересны, другие утомляли.

– Надо зафиксировать преморбид, – говорила Чеканова протяжно, щёлкая клавишами ноутбука.

Тесты показывали, что я подозрителен, склонен к резонёрству, имею циклотимный и дистимический тип акцентуации характера и страдаю от межличностных проблем – я мельком прочитал это на экране её ноутбука.

– В такое время живём, – она откидывала за ухо свои красивые чёрные волосы, не переставая щёлкать по клавиатуре. – Все уткнулся в смартфоны и сидят... Сейчас у всех проблемы с общением. Но это поправимо... Всё будет нормально.

Нормальность в понятии клинических психологов граничила с феноменальной, дистиллированной заурядностью, как если бы человек научился не оставлять следов на песке. Впрочем, Чекановой я об этом не говорил.

Первое время меня напрягали депрессивные пациенты, от которых веяло молчаливым осуждением. Один из них на вторую неделю стал моим соседом по палате – я прозвал его Плачущим Лёней.

Лёне было лет пятьдесят. Лысый и круглоголовый, он большую часть дня валялся на койке лицом к стене и периодически хныкал в подушку. В редкие периоды просветления Лёня подсаживался к столу, смотрел на меня робко и рассказывал одну и ту же историю тридцатилетней давности. Его, молодого терапевта, пригласили на какой-то симпозиум в Прибалтику, где он провёл три лучшие дня своей жизни. Он рассказывал, и его большая голова словно наполнялась гелием, снимаясь с опалых плеч. Лёня вспоминал финальный банкет на берегу Рижского залива и перечислял фамилии соседей по столу, которых с тех пор ни разу не видел. В такие моменты не только голова, но и всё его тело слегка парило над землёй.

У Лёни была супруга, которая зарабатывала больше, двое детей и должность в городской поликлинике, но почему-то именно те три дня были его единственным вдохновением. Может быть, он неосознанно считал эти дни рубежом, когда ещё возможно было пустить жизнь по другому руслу.

Когда сонливость отпустила меня, я стал больше бывать на улице, бродил вокруг корпуса или совершал вылазки за территорию клиники, что не запрещалось.

В толпе людей у остановки я был невидимкой, который вспыхивает на сетчатках глаз взмахом рукава или коротким взглядом, чтобы исчезнуть навсегда. Потоки транспорта неслись мимо меня стремниной. Три недели назад я был их частью, но теперь машины казались щепками, которые несёт в водосток.

Я легко перечёркивал прошлое, но не видел будущего. Я не видел человека, которым должен стать. Как и положено блабериду, я ощупывал усами стекло круглой банки, бродил кругами и надеялся, что рано или поздно в стекле обнаружится выход.

Я возвращался на территорию и, если там был Антон, местный разнорабочий, помогал ему отскрести дорожки от снега. Заведующий Ситель, скользя мимо нас, кивал:

– О, трудотерапия! Прекрасно!

У Сителя всегда всё прекрасно. Что касается Антона, у того был интересный фетиш: цветные резинки на правом запястье вроде тех, что Оля использовала для волос. Сначала я принял их за детский браслет и спросил, есть ли у Антона дочка, но, оказалось, смысл в другом. Если Антону удавалось прожить день без жалоб на что угодно, он добавлял на запястье цветную резиночку. Его задачей было набрать двадцать одну штуку, чтобы привычка жаловаться ушла навсегда. Вот уже полгода он не мог перебить собственный рекорд в 17 резинок.

Жалобами Антон считал любую фразу с элементом самооправдания. Мы с Мецем, сгребая с дорожек снег, частенько подначивали его:

– Что-то, Антоша, совсем тебя не ценят! Хоть бы зарплату подняли. Зарплаты-то вообще смешные.

Антон долбил лёд, белобрысо улыбался из-под сбитой шапки и молчал. На такую блесну его было не поймать. В следующий раз Мец ворчал:

– Какая всё-таки погода сволочная: вот вчера вроде почистили, и опять нападало. А толку-то – грязь одна! Да, Антох? Глобальное потепление, об колено его...

Антон снова молчал и улыбался. Лицо у него было круглым и светлым, как у церковного служки – безмятежная луна с неровной чёлкой. Издалека Антона можно было принять за крестьянина. Он носил фуфайку, грубые штаны и сапоги, таскал непомерные тяжести и многое умел по части сантехники и ремонта мебели. Его большие очки и внятная речь заставляли меня думать, что Антон довольно образован, но о себе он не рассказывал и вопросов не задавал.

* * *

Мы договорились, что Оля будет приезжать один или два раза в неделю, когда ей удобно. Можно было встречаться в вестибюле клиники, где стояли скамейки и кофемашина, но тут было людно, промозгло и противно хлопала дверь, отчего разговоры становились поверхностными, а встречи шершавыми. Поэтому я встречал Олю на улице у неработающего фонтана, и мы гуляли по территории.

– Что тебе привезти? – спросила Оля. – Я себя дурой каждый раз чувствую – не могу сообразить.

– Всё есть, правда. И кормят, кстати, сносно. На Салтыкова есть киоск и магазин. А в прачечной тут даже гладят.

– А как тебе обстановка?

– Сплю постоянно, так что мне всё фиолетово. Поразительно, насколько другим кажется мир, если хорошо выспаться.

– От тебя табаком пахнет.

– Ага. Курилка рядом с гардеробной. Иногда натягивает запах.

Я не рассказывал Оле про Меца и наши с ним беседы. То, что происходило в курилке, оставалось в курилке. Кроме запаха табака.

– Ну, ты как себя чувствуешь, лучше? – Оля пыталась поймать мой взгляд.

– Лодыжкин из любой проблемы слепит снеговика, а потом растопчет – так его метод и работает. Теперь мне вообще кажется, что у меня нет проблем.

– Хорошо! – она толкнула меня бедром. – Ты нам здоровый нужен. Хочешь домой на выходные?

– Упаси бог. У меня уже всё распланировано: я спать буду.

Оля приносила с собой запах дома и новости, которые звучали отголосками другой жизни, как сериал, который транслируют в чужой стране на чужом языке. Я почти не вникал в смысл её слов и лишь слушал живой, чуть хрипловатый голос.

Сегодня её волновала пропажа девятилетнего мальчика в коттеджном посёлке «Дубрава». Мальчика звали Миша Строев. Он пошёл к другу на соседнюю улицу, но так и не дошёл. Родители обнаружили это лишь вечером.

– Я не понимаю: там камеры везде должны быть, – переживала Оля. – Всех уже опросили – и ничего. В четыре часа дня кто-то должен был видеть. Телефон у него молчит. Я не понимаю...

Пацанёнок был старше Васьки, но немного похож на него, тоже жил в своём доме и тоже считался в безопасности. Это сводило Олю с ума.

– Такой мороз был ночью! Если он зашёл куда-нибудь в поле... Я Ваське говорю: не ходи за ворота без спроса! А он щеколду открывает.

– Слушай, в гараже есть навесной замок. Может, мне вернуться тогда?

– Нет, нужно весь курс пройти, – Оля раскаялась, что рассказала мне про мальчика. Она перевела тему. – Я в теннис снова пошла.

– Я знаю. Я же лайкаю тебя в «Инстаграме».

– Так сложно форму набирать: дыхания вообще нет. А после второго раза болело всё: ни чихнуть, ни почесаться, – она рассмеялась и хлопнула себя по бёдрам.

Мы подошли к часовне, похожей на небольшой киоск с башенкой, отделанный снаружи светлыми панелями. Из часовни вышла женщина, укутанная в чёрный платок. Я протянул ей руку – ступеньки были скользкими. Из часовни лился жёлтый свет и пряный запах, отдалённо напоминающий цукаты. Виднелись края икон. Воздух над свечами дрожал.

Мы двинулись дальше. Терапевт Лодыжкин говорил, что некоторые люди создают в своём воображении апокалиптический сценарий жизни, чтобы держать свою психику в повышенном тоне на случай реального апокалипсиса. Но если он не приходит, они теряют годы жизни в страхе, подозрениях и тревогах.

Большая часть их фобий легко разрушается. Но тревожные люди (Лодыжкин называл нас «вестники апокалипсиса») обычно слишком дорожат своим страхом, чтобы проверять его оправданность.

– Это ведь как многослойная защита: заглушать одну боль другой, – рассуждал он. – Больше всего такие люди боятся не чувствовать страха, потому что тогда они потеряют связь с реальностью, какой её себе представляют.

В философии Лодыжкина была приятная прямота. Можно ведь всё прояснить и не мучиться. Или уж мучиться, но с полным правом.

Мы дошли до фонтана и остановились. Олина машина приткнулась к забору со стороны улицы Салтыкова. Оля завела её, и брелок исполнил мелодию, словно бронзовый мальчик спустился по ступенькам ксилофона.

– Оля, я рад, что ты снова занимаешься теннисом. Когда вижу тебя в этой юбке, то просто с ума схожу. Ты мне одно скажи: твой великолепный Савва в теннис играет? Это не ради него всё?

Тревога на её лице сменилась трогательным выражением:

– Ты что, всё о нём думаешь?

– Я чёртов параноик, времени свободного полно, переживаний никаких. Вот мозг и заполняет пустоту. Ты просто скажи: он играет в теннис?

– Я даже не знаю... – она растерялась. – Раньше он не играл. Да с чего ты взял?

– У тебя на последней фотке в Инстаче мужские кроссовки раскиданы, баул какой-то.

Оля рассмеялась:

– Ну и что? Это Егор, папин заместитель. Ты его видел, наверное. Нет? Макс, ну это же их корт. Я там гостя. Егор давно играет, поддаётся мне иногда. Ты теперь из-за Егора переживать будешь?

– Нет. Ты ему просто передай, что, если он слишком поддаваться будет, я выйду и зарежу его.

– Ты же это не серьёзно? – её глаза смеялись.

Что-то понравилось Оле в моей решимости. Я подумал сбить градус и ответил жеманно:

– Всё так сложно и запутано, что мне нужно сначала обсудить ситуацию с психотерапевтом.

– Болван! – она снова толкнула меня бедром. – Возвращайся уже скорее.

Я дождался, когда её машина отлипнет от забора, и быстро пошёл обратно. В кармане куртки болталась капсула с радиом – та капсула, которую ещё прошлой осенью зачем-то дал мне Братерский. Её стоило давно выкинуть, но такой мусор не бросишь в урну.

* * *

Меца я впервые увидел в начале января, и он мне не понравился. Мы столкнулись в коридоре: он шёл на меня так, словно готов был пройти насквозь. В застиранной рубашке и трико он напоминал вахтёра и посмеивался, как бытовой алкоголик, который с утра страдает похмельем, а выпив, сыпет остротами.

Я бы так и не узнал его, если бы не один инцидент в столовой.

В женской половине корпуса была старушка-шизофреничка: маленькая дама, которую все избегали. Иногда она была весёлой, иногда очень грустной.

Однажды она напала на меня с признаниями:

– Вы потрясающе выступали! – говорила она, кладя ладони мне на грудь. – Вы отлично говорили! Я так восхищена! Саша, вы очень способный человек.

Глаза её светились. Она немного напоминала мою старую учительницу по химии.

Я подыграл ей, поблагодарил. Но улыбка стаяла с её лица, как сургуч, и глаза заблестели отчаянием. Она стала озираться, не узнавала меня, пугалась. Её и не должно было быть в мужском крыле – она забрела случайно. Санитар увёл её под локоть.

Старушка часто путалась. Как-то в столовой она пристала к хмурому пациенту в спортивном костюме с расстёгнутым воротом, под которым виднелась невероятной толщины золотая цепь. Он лечился от алкоголизма и затяжной депрессии. Не знаю, что именно сказала ему старушка, но мужик вдруг взорвался:

– Да это вы, коммунисты, всё и развалили! Жалко ей! Ты же и развалила! И доносы ты строчила! Подстилка сталинская!

Старушка, принимая его за кого-то другого, сжалась. Санитаров не было. Кто-то из пациентов смотрел безразлично, кто-то ошеломлённо. Мужик кричал, привстав от ярости, и казалось, кинется на неё.

И тут откуда-то появился Мец, схватил его за ухо, прижал к столу и несколько секунд что-то нежно шептал. Выглядело это, будто Мец душил барана. Я ждал, что мужик бросится на него, швырнёт тарелкой или укусит, но когда Мец ослабил хватку, тот уткнулся в тарелку и больше не говорил.

Мец проводил старушку к женской половине столовой и потом сел недалеко от меня.

– Что вы ему сказали? – спросил я.

– Объяснил, кто тут подстилка.

За эту стычку Мец получил предупреждение от руководства клиники. Мы перешли с ним на ты.

Нашу курилку Мец отвоевал у санитаров в обмен на обязательство не дымить где попало, потому что в набитую народом общую курилку у летнего входа он не ходил принципиально.

Я не курил, но с Мецем было интересно. Стены его каморки слышали больше признаний, чем кабинеты психотерапевтов.

Кроме меня, Мец близко сошёлся с одной пациенткой лет двадцати, которую я называл Веснушчатой Тоней. Мецу она годилась в дочери, и отношения у них были примерно такие же. Увидев её в столовой или на улице, Мец мог обнять её за плечи, спросить о чём-то негромко или сделать выговор санитару, если тот обошёлся с Тоней недостаточно вежливо. Фамильярностям Меца Тоня не сопротивлялась, и это было удивительно, потому что в остальном она казалась крайне замкнутой, никогда не поднимала глаз и от других пациентов шарахалась, как испуганная косуля. Может быть, Тоня чувствовала дикую силу, живущую внутри Меца, и доверяла ей.

Мец не терпел беспардонности и хамства, особенно к тем, кто не способен за себя постоять. Мец был готов убить не за обидные слова, но за самоуверенность.

– Может люди и неравны, – проповедовал он. – Может, я червь земляной. Может, ты червь. Но отнесись с уважением даже к червю. А будешь топтать ногами, я приду и вспорю тебе брюхо! Вот так.

Особенно Меца распаяла чванливость тех, кого принято называть сильными мира сего: чиновников и видных бизнесменов. Все эти золотые цепи только выводили его из себя.

– Всё идёт от безнаказанности, – кашлял он дымом. – Ухмыляются тебе в лицо и продолжают кровь сосать. А прирежешь такого скота, вонь поднимется! Ещё и сочувствующие найдутся. Они всю жизнь над законом, а как всадишь нож – тут же про закон вспомнят. Закон... А где ж вы раньше были, когда они грязные сапоги нам в глотки пихали?

Что-то прорывалось из далёкого прошлого Меца. Что-то не давало ему покоя. Но он не слишком распространялся об этом. Возмездие, с точки зрения Меца, было слишком сакральным и почти интимным процессом, чтобы обсуждать его вслух.

Меня забавляла мысль, как порадуются бывшие коллеги из «Дирижабля», если Мец кого-нибудь в самом деле прирежет. Как изучат под лупой его биографию и как вынесут вердикты. Каким нелепым покажется им факт, что человек с наклонностями Меца разгуливал на свободе. Его назовут маньяком, обвинив врачей и полицейских в преступном недосмотре.

Реальная история Меца останется за кадром, потому что блаберидов не интересуют реальные истории. Им нужен хороший заголовок и необременительный вывод о том, что существуют психи вроде Меца, и существуют они, нормальные люди.

Хотя граница не настолько чёткая.

* * *

Сеансы с терапевтом Лодыжкиным проходили легко и поначалу казались бесполезными. Мы встречались с ним шесть раз, с 8 по 19 января.

Обстановка его кабинета была стерильной. Лодыжкин в своём синем свитере ездил по нему на стуле с колёсиками или сидел скособочившись, закинув ногу на ногу, выставив вперёд тупоносую туфлю. В самой его позе было что-то, отчего все проблемы мира уменьшались вдвое.

Лодыжки напоминал почтальона Печкина, носил усы, был худым и лысоватым. Недостающий фрагмент волос со лба переехал вниз, превратившись в усы.

Лодыжкин располагал к неформальному общению. Пролистав результаты тестов Чекановой, он назвал их сплошной статистикой.

– Классификация акцентуаций по Кречмеру, – читал он вслух, сильно артикулируя. – Вы знаете, что такое классификация акцентуаций? Я вот не знаю. Напридумывают же!

Так он наводил мосты.

Метод Лодыжкина назывался когнитивно-поведенческой терапией и напоминал обычную беседу, в которой он, Лодыжкин, задавал наводящие вопросы, а если мои ответы казались ему недостаточно выношенными, спрашивал снова.

Иногда он разбавлял наши беседы небольшими притчами.

– Есть такие люди, мягкие по характеру, – Лодыжкин отъезжал на своём кресле к подоконнику и поливал цветок. – И чтобы дать кому-то отпор, им нужно как следует разозлиться, да что разозлиться – в бешенство впасть. Со стороны выглядит словно человека подменили: был тихий, скромный и вдруг на тебе – демон! Сатана просто. В этот момент у них вся биохимия меняется, другие структуры мозга активируются, в общем – состояние аффекта. А золотой середины нет: либо полная уступчивость, либо сразу истерика. Проблема? Проблема.

Он приезжал на кресле обратно, клал на стол сцепленные замком руки и вспоминал:

– Была у меня пациентка: очень сложные отношения с матерью. Терпит, терпит, терпит, потом взрывается. До рукоприкладства доходит. И мы с ней выработали такой сценарий: только мать начинает ей на мозг капать, она говорит: «Мама, мне это неприятно. Я знаю, что ты хочешь этого и этого, но мне 48 лет, и я уже не изменюсь». Мы отыграли эти сценарии здесь, а потом она применила их в жизни. И, знаете, с мамой у них всё наладилось.

Лодыжкина интересовали мои отношения с депрессивными пациентами. Мы разобрались, что чувство вины, которое вызывает у меня их хмурый вид, не имеет под собой основы. Их хмурость связана не со мной. Их хмурость коренится в них самих.

Эта находка сильно упростила мои отношения с Плачущим Лёней.

– А если посмотреть на общество, как на скопище таких плачущих лёнь, раздражение и агрессия которых связаны с их внутренними переживаниями, а не с вами лично? – рассуждал Лодыжкин. – В девяти случаях из десяти так и бывает. Но важно не пропустить тот один случай, когда вы действительно должны посочувствовать, помочь, поговорить. Нельзя жить за глухим забором, но нельзя и пускать на свою территорию кого попало.

В отличие от Чекановой, Лодыжкина занимал мой интерес к проблемам посёлка Филино и скандалу со статьёй о комбинате «Заря». Я обстоятельно рассказывал ему, как всё произошло. Мы сошлись во мнении, что изначально я недооценил сложность проблемы, и поэтому испытал такой стресс впоследствии.

Мы говорили о Братерском и его концепциях, и получалось, что вечный поиск глубинных смыслов есть хорошая тренировка для ума, которую не нужно смешивать с реальной жизнью.

– Вы по образованию физик? – спрашивал Лодыжкин. – Возьмём броуновское движение молекул – это ведь очень мудрёная штука. Но если мне нужно вскипятить чайник, я что делаю? Щёлкнул рычажком и вскипятил. А если я буду думать о судьбе каждой молекулы, то я себе мозг вскипячу.

Лодыжкин добрался и до понятия «блабериды». Он удивился способу, которым Братерский присвоил ему значение, и выспросил, что думаю о блаберидах лично я. Мы согласились, что слово не имеет столь уж отрицательного значения, потому что всё наше общество и есть результат брожения блаберидов.

– Я книгу читаю: её автор жил в XIX веке, – рассказывал Лодыжкин. – А ощущение, что написано сейчас. Всё то же самое: падение нравов, крах устоев, предчувствие скорого конца.

Лодыжкин распутывал морские узлы легко, словно это были подарочные ленты. Он спрашивал о семье, об Оле, о наших отношениях и нелепой ревности к Савве.

– Любовь – это ведь острое чувство, – говорил он. – Любовь всегда на грани наслаждения и боли. Что делает мозг, когда любовь теряет остроту? Он добавляет перца.

Савва – это скальпель, который цепляет корку раны, чтобы заставить её кровоточить. Рана – это и есть любовь.

И всё-таки одна тема оставалась в тени. На предпоследней встрече я спросил Лодыжкина напрямую, что он думает о моих галлюцинациях на берегу озера Красноглинного и мыслях, будто у меня существовал брат, к смерти которого я причастен.

Лодыжкин подумал с минуту, а потом ответил:

– Знаете, если каждого человека, у которого появляются странные мысли, мы будем лечить, у нас здоровых людей не останется. А галлюцинации при высокой температуре – явление нормальное.

На следующем сеансе он вернулся к теме и вдруг спросил:

– Вы видели статую роденовского мыслителя? Хорошо. Все её видели. Покажите, в какой позе он сидит.

Я ссутулился, подпёр лоб кулаком, чуть выставил вперёд колено:

– Как-то так.

– Ага. Только подпирает он не лоб, а подбородок, – Лодыжкин показал фотографию. – Это называется ложные воспоминания – одно из многих заблуждений человека. И они могут быть весьма отчётливыми.

– Вы считаете мои воспоминания о брате ложными?

– Нет, я бы этого не утверждал, – сказал Лодыжкин после паузы. – И даже у ложных воспоминаний есть причина. Если хотите, можете обратиться к психоаналитикам, гипнологам – на ваше усмотрение. Но я не думаю, что это необходимо. Не каждую пулю нужно извлекать.

* * *

В клинике я познакомился с Владиславом Яранским, театральным режиссёром. Я слышал что-то о нём, он слышал что-то обо мне, и на фоне взаимного успеха мы разговорились перед кабинетом Лодыжкина.

Раньше Яранский представлялся мне небожителем, который вращается в хрустальных кругах и обо всём говорит с загадочной двусмысленностью. Тем удивительнее было встретить его у лодыжкинской двери в простеньком спортивном костюме, словно после пробежки. Яранскому было лет пятьдесят, но в подвижном худом лице ещё осталась мятежность нервного юноши, которым он когда-то был.

Наш разговор сложился сразу. Усмехаясь тому, о чём только что говорил с Лодыжкиным, Яранский сказал:

– Мы столько времени тратим, чтобы отучить ребёнка от любви и привить ему жажду достижений, а потом удивляемся, почему у этого мира такой оскал. И почему мы сжигаем себя дотла.

Яранский попал в клинику две недели назад с нервным истощением, из-за которого потерял способность работать и саму работу. Он и сейчас не был уверен, что сможет вернуться.

– Год назад мы с женой поднимали тост за лучший год впереди. Не думал, что он закончится здесь, – он смотрел вдоль коридора, где шагал, прихрамывая, пациент с нервным тиком руки.

Год для Яранского выдался успешным: весной его назначили худруком местного театра, лето он провёл на гастролях, осенью труппа репетировала новую пьесу. Яранский преподавал в институте культуры, участвовал в съёмках короткометражки, занимался продюсированием. Его кандидатуру рассматривал модный московский театр.

– Вы ждёте шансов, ждёте, – рассуждал он задумчиво. – Закидываете одну удочку, другую... А потом клюёт на все сразу. Надо отказываться. Но где найти силы отказываться? Легко сказать. Переезд в столицу... Нужны деньги... А ещё больше нужна репутация. Репутация в театральном мире – что песок. Ты хорош, насколько хорош твой последний спектакль.

Яранский попытался быть везде, и у него получилось. Он открыл источник бесконечной энергии.

– Работать было тяжело: иногда требовалось время, чтобы включиться, но едва я ловил волну, меня было не остановить. Я плохо спал, а точнее, почти не спал, если только не выпивал бокал или два вина. А потом перестал спать даже с вином.

Его подгоняла похвала. Его талант обострился до болезненности. Но ещё больше его подгоняло мнение, что руководство местной труппой – его творческий потолок.

– Это происходит незаметно, – вспоминал он декабрь прошлого года, смешавшийся в сплошное марево. – Всё, что я чувствовал, – это злость и вина. Я чем-то обижал людей, а потом обижался сам, снова чувствовал вину, но от этого – ещё большую обиду. Я почти перестал общаться с друзьями.

А потом он потерял способность работать.

– Детская пьеса была самым простым проектом года – обычный новогодний чёс. Я думал о ней в машине, думал в лесу, сидел перед пустым экраном, пробовал писать от руки... Мы ведь в самом деле не знаем, почему у нас что-то получается. Откуда берутся наши слова.

Затрещали по швам другие проекты, особенно съёмки конкурсного фильма.

– Вдруг я понял, что меня больше не слушают. Меня это взбесило. Это было похоже на бунт на корабле.

Яранский всё больше ощущал растущую внутри себя деменцию, люди же напротив видели в нём какое-то новое хитроумие.

– Мыслей не было. Я не придумывал идеи, а брал те, что ещё не успели утонуть. В голове словно работал старый холодильник. Гу-гу-гу-бр-бр... Я наткнулся на осколки, но не мог сложить картины. Даже не замечал, что это осколки. Слепец не видит своей слепоты.

А потом его уволили из театра. Уволили без скандала. Он и не сопротивлялся.

– Будто отключили интернет, и статусы всех загрузок повисли на полпути.

Две недели в клинике пошли ему на пользу. Яранский хвалил Лодыжкина за умение не делать из мухи слона.

– Нам, людям творческим, полезно этому научиться, – он задумался и добавил: – Хотя любая пьеса – это ведь и есть слон. Не можем же мы писать про мух? Хотя почему не можем?

На его переносице клювом проступали морщины.

– Мы слишком стремимся стать сытыми, оставаясь голодными художниками, – заключал он.

Несмотря на неопределённость будущего, в клинике Яранский избавился от гнетущего чувства безысходности, которое накрыло его перед Новым годом.

– У вас всё будет хорошо, Максим, – сказал он мне на прощанье. – У вас гораздо больше здравомыслия, чем у меня две недели назад. Лодыжкин вам непременно поможет.

На следующий день Яранского выписали. Мне было жаль терять собеседника, тем более он планировал рассказать о гастролях в США и знакомстве с Джеймсом Кэмероном.

Подходила к концу вторая неделя моего пребывания в «Фомальгауте», и я всё больше думал о том, чем займусь после выписки 26 января.

Но одно событие резко изменило моё положение.

* * *

В комнате отдыха стояла покосившаяся ёлка со слишком большими шарами, которые не лезли между пластмассовых ветвей и придавали ёлке пучеглазый вид.

Ещё здесь была полка с книгами, где Гоголь соседствовал с брошюрой по тайм-менеджменту. Среди пестроты выделялась подборка детективов писателя Анатолия Леванова о настырном, честном и пьющем следователе Волкове.

Сначала меня просто забавляли названия: «Любовь ночного видения», «Браток на час», «Удавка для невесты», «Патрон удачи» – за пять лет на пенсии бывший подполковник МВД выпустил почти 40 книжек толщиной в два пальца.

Но потом я увлёкся. Меня заинтриговала эскизная простота жизни Волкова, который не страдал от сомнений, дум или, скажем, похмелья. Точнее, иногда страдал, но это никак не сказывалось на твёрдости его руки и сметливом уме. Его жизнь была сплошным крахом, его бывшая жена спала с успешным мужчиной, дочь превратилась в гота, мать выносила ему мозг советами, а из коллег Волкова понимала разве что лейтенант Заварухина, с которой он всё равно держал волчью дистанцию. Он был упрямым, неподкупным, раздражал начальство прямоотой и с выдумкой раскалывал очередного «глухаря». В общем, Волков стал моим кумиром.

Я читал «Зарю в преисподней», когда появилась медсестра и мягко сообщила, что меня ждут в кабинете заведующего. Ладонью, как стюардесса, она указала путь. Я заложил книгу конфетной обёрткой и пошёл к Сителю.

Ситель был невысоким седым джентльменом с аккуратной бородой и добродушно-внимательными очками, за которыми терялись его настоящие глаза. Когда медсестра толкнула дверь, пропуская меня внутрь, он оторвался от монитора и плеснул руками. На фалангах его пальцев было много волос.

– Присаживайтесь вот сюда, – показал он место напротив стола.

Его заместитель, психолог Чеканова, сидела сбоку, и чёрные дуги её бровей были неподвижны, что казалось немного пугающим.

В кабинете был ещё один человек, нестарый, довольно красивый и хорошо одетый. Его чёрные волосы были аккуратно уложены, а форма подбородка напоминала о героях комиксов. Вид немного портили впалые и маленькие глаза с кругами усталости. На вид человеку было лет сорок.

Я понял, что эта тройка собралась для какого-то суда. Впрочем, Ситель начал в мягком ключе, спросил о моём самочувствии и настроении, а потом заявил, что никто не собирается меня ни в чём обвинять.

Он взял стоящий перед Чекановой ноутбук и развернул ко мне. Я узнал страницу дирижаблевого сайта. Счётчик трафика показывал сногшибательные цифры. Ситель включил прикреплённое к статье видео.

Дело происходило в коридоре какого-то учреждения.

– Это наш диспансер, семёрка, – пояснил Ситель.

Видео было снято на смартфон. Женщина в белом халате выговаривала что-то нескладному старику, который порывался войти в кабинет. Женщина удерживала его:

– Что, говна опять поесть пришёл? – спрашивала она бесцеремонно.

Старик отвечал неразборчиво. Движения его были нелепы. Он напирал на женщину, она толкала его в грудь и отвечала базарным тоном:

– Я уже объясняла, куда тебе идти! Что мне твои бумажки? Шуруй, я тебе говорю. Дома говна поешь! Нам тут своих говноедов хватает.

Она гнала его, как собаку, а потом отвесила оплеуху: удар был несильный, но старик присел и вздрогнул. Женщину это развеселило:

– Вот и иди! Пугливый какой! Иди-иди, я сказала.

Послышался голос:

– Да пустите вы его уж...

– Я сама разберусь! – гавкнула женщина и снова замахнулась на старика. Он дёрнул руками и отошёл в сторону, шаркая и припадая на одну ногу. На нём была зимняя одежда и тонкие тапочки, какие выдают в дешёвых гостиницах.

– Ну, не по-человечески как-то, – снова послышался голос.

– А по-человечески надо – в церковь идите! А тут учреждение, – заявила женщина и захлопнула дверь кабинета.

В комментариях поднялся предсказуемый хайп – большинство требовало немедленно уволить сотрудницу диспансера. Неля, автор сопроводительного текста, раскопала, что старик – бывший афганец, – пришёл в диспансер за рецептом. Чем именно он разозлил женщину в халате, оставалось неясным.

Я посмотрел на Сителя. Он изучал меня с любопытством.

– Это не я снимал, – заявил я без колебаний.

– Мы понимаем, понимаем, – поднял ладони Ситель. – Не снимали – и хорошо. Даже если снимали, ничего криминального. Подведение сотрудницы действительно... как бы это помягче...

– Да я даже не был в диспансере! – выпалил я и вдруг сообразил, что это неправда. Оля просила забрать документы, и на днях я заходил туда в бухгалтерию.

Замешательство не ускользнуло от внимания тройки. Чеканова кивнула, и крыло её чёрных волос качнулось в такт. Человек в костюме смотрел спокойно и почти безучастно.

– Телефон проверьте, – я выложил аппарат на стол. – Ну, проверьте, проверьте! Мне самому интересно.

– Нет! – Ситель почти ужаснулся. – Телефон – это ваше личное пространство. Мы вам верим.

– Чего же вы хотите?

Слово взяла Чеканова:

– Максим, давайте предположим, что состояния, которые мучили вас до поступления к нам, проявляются снова. Мы тоже могли ошибиться. Мы всегда идём от простого к сложному. Если у человека ссадина – мы клеим пластырь. Но бывает, что пластыря недостаточно.

– Я серьёзно болен?

– Мы этого не знаем и хотим разобраться вместе с вами.

Ситель снова поднял руки:

– Речь не о том, чтобы вас в чём-то обвинить! Да, Цвикевич недоволен, но пусть он со своими сотрудниками сам разбирается. Мы полностью на вашей стороне.

В тот день я впервые услышал эту фамилию – Цвикевич. Цвикевич был главным врачом нашего диспансера, ПНД №7, и ярые комментаторы под статьёй предлагали отправить его в отставку вместе с министром здравоохранения области. Вряд ли он был в восторге от их решимости.

Ситель продолжал:

– У психиатров есть такой критерий: если пациент осознаёт своё состояние – кризис болезни пройден. Пусть он ещё слышит голоса в голове...

– Я не слышу голосов.

– Я к примеру. Так если человек слышит голоса, но осознаёт их фантомную природу, он уже на полпути к выздоровлению.

– У меня, значит, всё совсем плохо: ничего такого я не осознаю.

Ситель развернулся к человеку, что сидел рядом с ним:

– Вот, познакомьтесь: Георгий Романович Танцырев – наш ведущий, можно сказать, специалист. Мы предлагаем вам подумать о том, чтобы пройти у него курс терапии.

Танцырев расстегнул пуговицу на пиджаке, выпуская на свободу запах дорогого одеколona, и, убедившись, что все локаторы настроены на него, сказал:

– Максим, я немного познакомился с вашим делом. Терапию, которую вы получили, можно сравнить с ямочным ремонтом дороги. Как сказала Анна Николаевна, вам нужен более углублённый подход.

– Какой именно?

– Психоанализ. Он потребует гораздо больше усилий, но вы глубоко изучите свою натуру. Мы можем начать сейчас, пока вы находитесь в клинике, а при необходимости продолжить после вашей выписки.

– Это поможет?

– Я понимаю ваши сомнения. Психоанализ – это способ самопознания сложных, многогранных натур. В отличие от бихевиоризма, он даёт глубинный и устойчивый эффект. Вы человек творческий и рефлексивный, и я уверен, психоанализ позволит вам полнее использовать свой потенциал. Но выбор за вами.

– Мне нужно посоветоваться с семьёй.

– Конечно, – закивали все трое.

Вечером я позвонил Оле. Она встревожилась, хотя и попыталась это скрыть.

– Мне неохота здесь торчать, – сказал я. – Никакое видео в «Дирижабль» я не посылал: я проверил все исходящие сообщения и записи в смартфоне. Этого не может быть.

– Подожди, давай обсудим, – мягко настаивала Оля.

Предложение Сителя оставить меня ещё на месяц, до двадцатых чисел февраля, показалось ей разумным.

– Меня цена вопроса волнует, – сказал я.

– Про это даже не думай. Папа сказал, что поможет.

С Танцыревым мы договорились встречаться четыре раза в неделю: каждый будний день кроме среды. Оля что-то слышала о Танцыреве и высказалась на его счёт почти восторженно.

– Если через месяц не будет эффекта, вернёшься и всё, – подытожила она. – Но он тебе точно поможет.

Позже я узнал, что скандал с видео отразился и на главном враче диспансера Цвикевиче, и на самой клинике «Фомальгаут», которая юридически относилась к диспансеру, и потому зависела от решений Цвикевича.

* * *

– Меня ещё на месяц оставили, – сказал я.

По лицу Принцессы Кати сложно было понять её отношение, но думаю, она сочувствовала. Острый нос слегка приподнялся, и брови двинулись навстречу.

Катя поступила в клинику «Фомальгаут» в десятых числах января. Я называл Катю Принцессой за её невыносимо гордый вид. В лице Кати была готическая отвесность, и в разлёте глаз часто сквозил гнев, словно Катины родовитые предки смотрели на наш вавилонский уклад с величайшим презрением.

Временами мне нравилась бритвенная красота её черт, в другие дни она вдруг становилась блёклой и отёкшей, словно спущенный шар. Но стоило заговорить об этом, ледяная маска проступала через её усталость, как морозный узор на стекле.

У Кати были невероятные голубые глаза, смотревшие из её холодных глубин, в которых, казалось, вырывается вулкан.

Я бы не стал знакомиться с ней сам, но как-то после ужина она заговорила первой. Маску высокомерия Катя сняла как будто с облегчением, а общность наших историй показалась нам забавной. Мы стали гулять вместе.

Настроение Принцессы менялось непредсказуемо: порой она замыкалась, и её лицо снова заволакивал аристократический холод. В такие моменты я просто отпускал её.

Но сегодня она была расположена говорить.

– Почему тебя оставляют? – спросила она озабоченно.

Мы стояли около скамейки. Я вытаптывал ногой полумесяц.

– Не знаю. Ситель думает, я сделал одну ерунду, которой я не делал. А может, и делал. У меня уже паранойя. Постоянно слежу сам за собой.

– Не давай им себя залечивать. Они ужасные, ужасные люди! Они только кажутся милыми.

В такие минуты Катя казалась очень искренней. Она знала, о чём говорит.

Катя росла без отца со сверхзаботливой мамой. Катя преподавала в университете историю и никогда не была замужем.

Летом 2015 года Катя случайно познакомилась с американскими байкерами, которые ехали из Лиссабона во Владивосток. Внезапно, не забрав даже вещи, Катя присоединилась к ним. Во время путешествия один из байкеров погиб, угодив под встречный грузовик, но даже это не испортило Кате настроения. Она была в странной эйфории.

Протрезвление наступило в Иркутске, где Катя, рыдая в телефонную трубку, умоляла маму выслать деньги на билет. Примерно через год после того инцидента, тоже летом, Катя увидела на улице своего умершего отца, который оказался богатым человеком. По его совету она сбежала в Москву, где жила с каким-то парнем, потомком королей, от которого ждала ребёнка. Это наваждение длилось месяцев восемь.

Несмотря на подобные завихрения, Катя умела рассуждать трезво, была начитана и подкупала детской искренностью суждений. Мои рассказы о «Заре» и странном брате она слушала с настороженным интересом.

Клиника «Фомальгаут» пугала её, хотя была меньшим из зол.

– Это стигма на всю жизнь, – говорила Катя.

Её ледяные глаза таяли и едва заметно блестели.

В обычную психиатрическую больницу Катя впервые попала после приступа затяжной депрессии, который случился у неё примерно через год после московской эскапады. Она целыми днями лежала в постели, и даже элементарные задачи вроде чистки зубов казались ей невыносимо сложными.

– Состояние такое, словно открыли кран и вылили из тебя всю воду, – вспоминала она. – Словно саму тебя вылили.

Дошло до того, что Катя стала сомневаться в том, существует ли она. Она резала свои плечи опасной бритвой, чтобы вернуть чувство реальности. Когда места на плечах не осталось, она перешла на локти и запястья.

Решение вызвать бригаду они с мамой принимали вместе, и Катя надеялась на человеческое отношение. Но санитары, едва увидев надрезы на запястьях, увезли Катю в психиатрическое отделение, а позже появилось судебное решение о принудительной госпитализации.

– В больнице невозможно остаться в одиночестве, – с ужасом вспоминала она. – На тебя постоянно смотрят и оценивают. Ногти срезают под корень. Заставляют мыться при всех. Я просила разрешения одеваться самостоятельно, а они только усмехались. Ко мне относились, как к заключённой! Это из-за порезов на запястьях. Они думали, я хотела убить себя. А я просто хотела разобраться!

Никакого внятного диагноза Катя не получила. Одни видели у неё шизоаффективное расстройство, другие называли болезнь шизофренией параноидальной формы, третьи – приступообразной шизофренией. Кате давали аминазин, галоперидол, азалептин, клопиксол, паксил... Ей назначали препараты и отменяли с такой лёгкостью, словно проводили эксперимент. Лучше Кате не становилось.

– Они просто глушат симптомы, и ты плаваешь целый день, как утопленник, – говорила она. – Главное, чтобы ты не доставлял хлопот. Палаты переполнены, персонала не хватает.

В конце концов, мать нашла деньги и добилась перевода Кати в нашу клинику «Фомальгаут». Ей отменили почти все назначенные препараты, и Катя почувствовала себя лучше.

Если суицидальные наклонности проявятся вновь, Катю вернут в городскую больницу – этот страх преследовал её постоянно.

Катю тревожило предложение Сителя оставить меня ещё на месяц, словно эта угроза касалась и её тоже.

– Они всё выдумали! – спорила Катя. – Они ищут повод тебя оставить.

– Да нет, Кать. Инцидент в самом деле был. Просто я не уверен, что сделал это.

– Им повод нужен! Так всегда будет. Вот увидишь! Они всё выдумали!

Я попытался сменить тему, но Катя уже замкнулась, надела маску и пошла по дорожке в сторону корпуса, прямая, как сосна.

Ничего. Завтра отойдёт.

* * *

Ещё давно я зарёкся оставлять номер личного телефона героям своих репортажей, но до этого несколько раз давал слабину. Зато теперь такие звонки меня даже развлекали.

Женщину по имени Ида я никогда не видел. Года три назад я писал о её войне с владельцем магазина на первом этаже дома. Ида использовала меня как психотерапевта, звонила в девять вечера с подробностями и прикладывала телефон к полу квартиры, чтобы я услышал звуки с первого этажа.

– Вы понимаете? – глухо шептала она, пока я слушал обычный интершум. – Я вам говорю: они держат там мигрантов.

Владелец действительно оказался наполовину жуликом и, хотя мигрантов не держал, получил уголовную статью за незаконное предпринимательство.

На днях Ида позвонила снова, но прежде чем я объяснил своё положение, спросила отчуждённым голосом, какой бывает у людей после сильного стресса.

– Максим. Максим? Вы слышите? Вам интересна история незаконного увольнения?

Я понял, что ей нужно выговориться. Развлечений в клинике было немного. Я нашёл скамейку в коридоре и стал слушать. До прошлого ноября Ида работала в торговой компании, директор которой был в неё влюблён и уволил за отказ спать с ним. Влюблённость он демонстрировал странным образом, например, каждое утро подменял Идин добротный стул на сломанный, чтобы привлечь внимание (подозреваю, без задней мысли подобное делали офисные уборщицы). На парковке начальник караулил её, сидя на заднем сиденье автомобиля, наблюдая через тонировку. Он подсылал к ней клиентов, которые назначали встречи в странных местах. При этом Ида была уверена, что его истинной страстью были молодые мальчишки. На неё начальник клюнул лишь потому, что за последний год она сильно похудела и коротко подстриглась.

– Вы хотите заявить, что он латентный гомосексуалист? – спросил я.

– Мне нельзя об это говорить. Никто не поверит. Я заинтересованная сторона. Максим, проведите своё расследование. Подайте от своего лица. Люди вас послушают.

– От своего лица? Ида, вы знаете, где я нахожусь?

Я рассказал ей о клинике пограничных состояний «Фомальгаут», которую она сначала приняла за обычную больницу и пожелала мне скорейшего выздоровления. Но когда я объяснил ей, что «Фомальгаут» – это, по сути, платная психиатрическая больница, Ида повесила трубку на полуслове. Она боялась связываться с сумасшедшими. Чёрт его знает, чего от них ждать.

Мне звонил дольщик Игорь, каждый раз забывая о моём положении. Он спрашивал, почему «Дирижабль» перестал писать об алмазовских недостроях, и требовал провести расследование легитимности соседнего микрорайона «Сокол». У него была целая теория о личном интересе губернатора в стройке «Сокола», о выдавливании «Алмазов», а ещё о том, что «этот червяк Братерский лезет на самый верх». Тёща Игоря работала буфетчицей в областной администрации, так что информация шла из первых рук.

В компенсацию за труды Игорь обещал познакомить меня с неким якобием Усеченским, «о котором все говорят». Усеченский когда-то был сотрудником МЧС по имени Геннадий Серпухов, а теперь возглавлял религиозное движение «Обитель первого человека». На мой вежливый отказ вникать Игорь фыркнул что-то вроде «ну, понятно, предрассудки».

Что касается «Алмазов», я обещал передать его теорию в «Дирижабль» и педантично изложил всё в сообщении Неле. От неё пришёл ответ: ок. Неля и без этого знала, что я свихнулся.

Читатели, которые писали мне, были адекватными или неадекватными, но был и третий тип, самый страшный – «одыкватные». Эти жаловались на качество «осфальта» и требовали положенного им по «канстетуции».

Один автор включил меня в рассылку письма, адресованного Генеральной прокуратуре, Следственному комитету и лично Президенту, утверждая, что ФСБ регулярно уничтожает его переписку. Он прилагал обширный pdf-файл с заглавием: «Неизвестные факты цивилизации», в котором излагал и обосновывал (со ссылкой на телеканал History) ряд теорий о связи большевиков с кланом Ротшильдов. Другой автор начинал письмо с восклицания «Срочно прочитайте!» и требовал легализовать продукты из каннабиса, включая текстиль, хлеб и молоко. «Все преступления от водки, от каннабиса преступлений нет, но РАБОВЛАДЕЛЬЦЫ озлобляют людей, им нужны ЛЕММИНГИ, а не БОГИ!!!».

Иногда казалось, что моя нынешняя компания выглядит чуть более нормальной чем та, что осталась по ту сторону регистратуры. Впрочем, мои заявления и теории Братерского звучали не лучше, чем идеи о борьбе ЛЕММИНГОВ и БОГОВ.

Как-то в курилке вместо Меца я застал парня с длинными волосами, худое лицо которого меня расположило: он напоминал Джона Леннона в годы расцвета. Он курил в форточку,

на меня отреагировал не сразу, потом извинился и примирительно сказал, что скоро уйдёт. Что-то приятное было в его манерах. С такими людьми легко быть собой, потому что в них есть бездонность, способная принять тебя со всеми твоими грехами.

Мы немного поговорили. Человека звали Тихон. Я рассказал ему о себе, он улыбнулся и, глядя в окно, произнёс:

– Надеетесь отыскать путь к себе?

– Вероятно. Может быть, нужно было в церковь сходить, а я вот сюда попал.

– В церковь не обязательно, – он затушил сигарету. – Вы не замечали, что возврат человека к себе – ужасно неблагодарное занятие?

– Почему же?

Он пожал плечами:

– Кто может, тот и так с собой. А кто не может, уже не научится.

От Тихона я во второй раз услышал об «Обители первого человека» – странной секте, которая проповедовала, будто не человек произошёл от обезьяны, а с точностью до наоборот – человекообразная обезьяна произошла от пра-людей.

Якобы эта раса сверхсознательных существ жила в кайнозойское эре, а расцвета достигла в миоцене примерно 10 миллионов лет назад. Этот период относился к тортонскому ярусу, поэтому пра-людей называли Тортонами. Около 7 миллионов лет назад арктическое оледенение вынудило их деградировать до человекоподобных обезьян и законсервироваться в этой фазе. Теперь, согласно теории, мы проходили мучительную обратную эволюцию, но пока человек достиг лишь десятой части способностей Тортонов.

– Вы сами верите в эту теорию? – спросил я Тихона.

– Не всё ли равно, во что верить?

Тихон показался мне человеком лёгким, как танцующий на ветру пакет из «Красоты по-американски». Он выбрал себе случайную религию, заполнив вакантное место в душе, чтобы на него не претендовали продавцы других религий.

Позже я узнал, что Тихону всего двадцать четыре и он – сын богатого московского промышленника, нашего бывшего земляка. Отец пристроил его в нашу клинику подальше от московских соблазнов, а может быть, подальше от самого себя.

Верил ли Тихон в идеологию первого человека? Скорее, он чувствовал Тортона в самом себе.

* * *

Медсёстры обожали Танцырева – психоаналитика, с которым мне предстояло работать. В их пересказах он представлялся человеком пожилым, основательным, бородатым, чем-то похожим на Сителя, но ещё более гранитным.

Реальный Танцырев был моложе, но тоже по-своему гранитный. Актёрскую внешность ослабляли его глаза, словно он страдал близорукостью или долго жил с повязкой на глазах. Он щурился и чуть скашивал их к переносице, но даже этот болезненный взгляд казался медсёстрам интригующим, как бы приоткрывая глубины танцыревского ума.

Танцырев умел слушать: волна его внимания была почти осязаемой. В его манере общения было что-то потустороннее, и любой рассказ в его кабинете звучал, как эхо дремучих лесов.

Кушетка – главный атрибут последователей Фрейда – появилась не сразу. Первые два сеанса мы общались с глазу на глаз: он – сидя за массивным тёмным столом, я – в кресле напротив.

Кабинет с плотными портьерами казался сумрачным, немногочисленная мебель была дорогой и тяжеловесной, и венское настроение сбивали лишь пластиковые окна, подглядывающие за нами из-за портьер.

Танцырев хорошо зарабатывал. У него была дорогая машина, которую он оставлял на служебной парковке позади корпуса. Танцырев интересовался строительством. Он закла-

дывал коттедж, и пару раз я заставлял его за изучением строительного каталога или профильных журналов. Как-то после сеанса он расспросил меня о фундаменте нашего коттеджа: его интересовали способы гидроизоляции и стыковки блоков, глубина промерзания и разводка канализационных труб. Однако слабость была минутной: когда в следующий раз я вернулся к вопросам строительства, он сменил тему и стал тщательней прятать строительные каталоги.

На первых встречах мы говорили об учёбе в институте, отношениях с Олей, работе журналистом, друзьях и знакомых.

Он деликатно вывел меня на разговоры о смерти родителей. Подробности всплывали и ранили меня, как вещи, которые случайно обнаруживаешь в квартире в первые дни после чьего-то ухода. Я рассказал, как наткнулся на мамин кнопочный телефон, который она хранила на всякий случай. Но случая не возникло, и телефон медленно вышел из строя. В день после похорон я держал его в руках и не мог избавиться от ощущения, что она вот-вот зайдёт, возьмёт его, спросит, можно ли заменить батарею... Нет, мам, таких уже не делают.

Я не смог его ни починить, ни выбросить.

Ненасытное внимание Танцырева требовало подробностей. Он разрешал мне перескакивать с темы на тему, двигаясь по нитям ассоциаций самым замысловатым образом.

Мы много говорили о «чёрном варианте» статьи и проблемах Филино. Его интересовали мои отношения с Алисой и рассуждения о мифическом брате. Как-то я спросил его напрямую:

– А может у меня быть раздвоение личности?

К вопросу он отнёсся серьёзно.

– Диссоциативное расстройство личности – феномен редкий и до конца не изученный, – ответил он. – Исключать нельзя, но я бы не делал поспешных выводов.

Танцырев спрашивал, что я думаю о публикации скандального видео из диспансера, на котором раздражённая сотрудница выгоняла деда-афганца. Неля, которой я позвонил накануне, пошипев, призналась, что видео прислали с анонимной почты.

Версий было немного: либо это я, либо не я. Либо это совпадение, либо чей-то злой умысел.

– Чей? – спросил Танцырев.

– Ну, ваш, например. Вы же, получается, главный выгодополучатель. Меня вот ещё на месяц оставили.

В конце второго сеанса он предложил мне использовать кушетку. Я решил попробовать.

Своей формой кушетка напоминала откинутый шезлонг, лёжа в котором, я разговаривал преимущественно с дохлой мухой в плафоне потолочной лампы.

Говорить на кушетке было проще: не видя Танцырева, я не отвлекался на его лёгкое косоглазие и не искал ответов на его лице. Если я пытался обойти острый угол, он направлял разговор на самую его вершину.

Мы много говорили о снах, и Танцырев заставлял меня пересказывать их в подробностях. Видения порой были абсурдны.

Как-то мне приснился друг детства Ваня, который пришёл ко мне с детской переноской, крича: «Она повесилась! Умерла!». Он имел в виду ребёнка в переноске. Ваню душила истерика. Но когда мы открыли переноску, девочка оказалась жива.

– Подумайте об этой девочке, – требовал Танцырев. – Что первое приходит на ум?

– Не знаю. Ничего особенно. Ерунда всякая. Катя, пациентка здешняя, думает, что беременна. Хотя при чём тут это?

– Хорошо, Катя. Подумайте о Кате. Вам жалко Катю, вы сочувствуете ей. О чём вы думаете?

– Она кажется гордой, но, по-моему, она потеряна. Что-то мучает её. Раньше по сети гулял тэг #бывшие.

– Бывшие? Почему вы о нём вспомнили?

– Не знаю. Просто вспомнил.

– Что приходит на ум, когда вы видите тэг #бывшие?

– Когда мне было лет шестнадцать, я встречался с девушкой по имени Даша. Но у нас не было детей, если вы об этом.

– Просто расскажите о ней.

Я рассказывал. Даша понравилась мне с первого взгляда, была умной и довольно милой. Мы встречались года два до выпускного класса и расстались вскоре после смерти отца.

Танцырева почему-то заинтересовал эпизод, который случился незадолго до нашего расставания.

Это было в торговом центре. Даша зашла в бутик с парой спесивых продавщиц и выбирала там блузку или платье.

Я стоял у входа и смотрел на Дашу. Продавщицы сдерживались, нервно поправляли вешалки, вздыхали и клевали Дашу взглядами. Даша этого не замечала.

И вдруг брезгливость продавщиц передалась мне. Словно всё в Даше стало неправильным, постыдным, издевательским.

Продавщицы начали хамить Даше, а я не мог пошевелиться, пропитываясь странной ненавистью, будто Дашин позор измазывал нас всех.

Это закончилось внезапно. Когда Даша, чуть смущённая, вышла из бутика, я снова видел её милой девчонкой, умной и внимательной к друзьям. Мне всегда хотелось завоевать её расположение – она была для меня мерилom порядочности.

– Вы разочаровались в ней после того эпизода? – спросил Танцырев.

– Нет. Но я до сих пор ощущаю ту же брезгливость, когда вспоминаю об этом. Это совершенно необъяснимо. Даша тут ни при чём.

– У вас была близость с Дашей после этого случая?

– Да, это никак не повлияло. Но вскоре мы расстались. По другой причине.

Танцырев дожимал меня вопросами. Он брал консервный нож и выпускал прошлому кишки. Он говорил, что даёт мне фонарь и показывает, где искать. Это напоминало уборку шкафа, куда тридцать лет никто не заглядывал.

Понятия «хорошо» и «плохо» постепенно исчезали, как и понятия «прилично» и «неприлично». Рассказывая мухе в плафоне об эрекции в возрасте 12 лет, я испытывал не больше смущения, чем если бы объяснял ей устройство телескопической удочки.

Танцырев никогда не пояснял причину своего интереса к тем или иным эпизодам моей жизни. Он не давал ответов.

Я скучал по методу Лодыжкина, который тоже любил вопросы, но любил и разгадки. От Танцырева я выходил выжатый как лимон и разбитый, словно в моих внутренностях помешали чайной ложкой.

* * *

После сеанса мне всегда хотелось увидеть Меца, и, если удавалось поймать его, мы шли в курилку и говорили о какой-нибудь ерунде. Я спрашивал:

– А бывал ты прямо на грани, чтобы кого-нибудь пырнуть?

– Много раз, – кивал он, затягиваясь.

– Ну, например?

Дым расплзался по комнате, как жадная ладонь. Мец разгонял его рукой, чтобы мне не ело глаза.

– Да вот явился тут в кузницу один хахаль, любитель по этой части... – он делал жест, означающий соитие. – И начал мне хамить из-за какой-то дуры. Я как раз клинок выбивал. Хотел его прямо эти клинком и уложить. Только жалко стало.

– Хахаля?

– Клинок, балда. Только из печи вытащил. Он же как пластилин.

– Стамеской бы ему дал.

Мец кривился:

– Какой стамеской? Мы же не мясники какие-то. С чувством надо, со смыслом... Стамеской...

Моя неразборчивость в выборе оружия приводила Меца в недоумение.

Как-то я рассказал Мецу о видениях, связанных с братом. У Меца были свои гремлины, с которыми он научился жить. Его метод был прост.

– Так скажи ему: отстань! – взгляд Меца стал жёстким. – Скажи: достал меня! Если брат мне, то прости за всё и иди с миром. А не пойдёшь...

– Так просто? – усмехнулся я. – Отстань – и вся психотерапия?

– А это смотря как скажешь, – Мец со злостью сунул окурок в банку из-под шпротов.

Что-то на него нашло в тот вечер. Он показал мне нож, который протащил в клинику и припрятал за трубой, идущей по верху стены в нашей курилке.

– Снился мне один... – рассказывал Мец. – Так я говорю ему... Мысленно говорю, во сне... Я тебя, паскуда, один раз предупрежу: приснишься мне ещё раз, я тебе, гнида, этот нож по самую рукоять вставлю!

Он перевернул нож в руке и протянул рукоять вперёд.

Рукоять ножа стала тёплой. Я запоминал его вес. Нож запоминал форму моей ладони. Так собака и хозяин узнают друг друга. На какую-то минуту я вдруг хорошо понял Меца. Нож в руке ободряет. Нож в руке – это ответ на многие вопросы, пусть даже они не выходят за пределы твоей головы.

Я вернул Мецу оружие. Взобравшись на табурет, он долго крепил его на трубе.

Мец знал об унижениях. Я понимал, кто ему снится.

Он вырос в шахтёрском посёлке Тульской области в семье, где профессия шахтёра была возведена в ранг культа. Его отец и братья были крепки и дородны, но сам он родился слабым и уступал в силе и ловкости даже младшей сестре. Возможно, Меца подкосила болезнь – совсем маленьким он едва не умер от брюшного тифа или сальмонеллёза и всё детство оставался чахлым, сутулым и подверженным всякого рода вирусам.

Меца били в школе, а отец добавлял ему дома, считая, что, если пресс работает с двух сторон, металл становится прочнее. Он надеялся выбить из Меца его натуру. Однажды, когда Мец пришёл весь изодраный, отец отказался пускать его домой, пока тот не вернётся и не отлупит своих обидчиков. В качестве оружия возмездия отец выдал ему черенок от лопаты. Всю ночь Мец просидел с этим черенком в кустах у реки, замёрз и утром вернулся домой совершенно больной. Это ненадолго смягчило его отца, точнее, сменило его гнев на брезгливость.

Как-то у Меца появился шанс отомстить одному из своих обидчиков. Это было в марте, когда река Зубовка около шахтёрского посёлка освободилась ото льда и стала чёрной, как зрачок.

Этот парень, сын другого шахтёра, стоял на перилах моста, перекинутого через речку, и Мецу достаточно было толкнуть его.

– У них забава такая была – ходить через мост по перилам, – рассказывал Мец. – А в тот день он просто стоял, может, думал о чём-то. До него было три шага.

Шансов у парня не было. Если бы он не разбился о камни при падении, в зимней одежде он просто бы утонул. Река в этом месте текла по оврагу, была узкой и глубокой, и по краям протоки шетинился острозубый лёд. Три шага отделяли Меца от победы. Он боролся с собой минуту или две, но потом просто ушёл.

– Не решился? – спрашивал я. – Страшно стало? Или жалко?

В такие моменты Мец надолго замолкал, затягивался жадно, и папироса истлевала до середины. Казалось, он разозлится и врежет мне кулаком или достанет из-под штанины нож. Лицо его было диким, насмешливым, злым.

Но потом он успокаивался и отвечал:

– Нет. Скотина он по рождению. А скотину нужно резать, только если жрать хочется. А мне не хотелось.

Увлечение Меца ножами началось случайно. Как-то он увидел на улице детей, которые нацепили на заборные столбы несколько гнилых арбузов и кидались в них ножом, крича что-то вроде «Получай, фриц!».

Нечто новое открылось Мецу в этот момент. Он смотрел на них как замороженный. Нож, кинутый удачно, взрывал арбузную корку и выпускал на волю красную мякоть и прозрачную кровь.

Мец тоже кинул несколько раз, не попал, но был восхищён. Ножи стали его страстью.

* * *

28 января должна была приехать Оля с мамой.

Накануне ударил сильный мороз, и чахлые сосны во дворе клиники преобразились, словно костлявые женщины надели подвенечные наряды. Всё затянуло белой пудрой, и даже здание диспансера смотрелось свежо, словно снег впитал в себя все огорчения, страхи и душевную пустоту. Пудра легла правильными тенями на чугунный забор клинки, добавив ему объёма. Выйдя встречать Олю, я прихватил блокнот с карандашом и попытался набросать эскиз.

Пар оседал на шарфе белым сахаром и склеивал ресницы. Я рисовал быстро, но через пару минут пальцы утратили чувствительность, а рисунок напоминал почеркушки первоклассника.

Оля обещала заехать в полтретьего. Оставалось ещё минут десять, а мороз уже изжевал мои ноги.

Я ушёл в здание. В вестибюле было прохладно и влажно. Здесь ждал кого-то Илья Ланьков – депрессивный мужик, поступивший в клинику на днях. Я сел наискосок и расстегнул воротник.

Илья сутулился. Оплывшие плечи напоздали на крупный живот. Сцепленные пальцы с массивными перстнями боролись друг с другом, то скручиваясь, то распрямляясь.

У Ильи был какой-то бизнес: лесопилка, киоски, автомойки и всё в таком роде. Он был лет на десять моложе моего тестя, но относился к той же породе, вращался примерно в тех же кругах и, вероятно, был знаком с ним или хотя бы наслышан.

Накануне Илья заговорил со мной в приятельской манере. Так я узнал про его бизнесы, его деятельную супругу и дочь, которая незаметно выросла и вышла замуж за странного очкарика по имени Артур. Об этом очкарике Илья рассказывал с досадой и недоумением, потому что в его, Ильёвой, классификации парень стоял в самом низу пищевой цепочки и не имел зримых достоинств. Первое время Илья переживал из-за нового дармоеда в семье, но оказалось, что заработок зятя не так и сильно отличался от доходов самого Ильи. Молодая семья жила самостоятельно, дочь незаметно отдалилась, и даже автомойки, которые Илья планировал передать им, как только убедится в профпригодности очкарика, стали вдруг не нужны. Очкарик вёл барсучью жизнь, отсыпался днём, а ночами смотрел в монитор (предполагаю, торговал на бирже) и денег не кланчил. У дочери появились непонятные увлечения, и делами отца она интересовалась всё меньше.

Прошлой осенью Илью накрыла депрессия. Теперь он мучился вопросом: что останется после нас?

Ему разонравились вывески собственных автомоек, утомила романтика мелкой торговли и даже запах стружки, который был душой его лесопилки.

– Что останется, а? – допрашивал он меня. – Что это за кампанейщина – киоски убрать? А кому мешают киоски? Сначала башляешь, чтобы поставить, потом башляешь, чтобы убрать. И не в деньгах дело! Что им, молодым, останется?

В этом мучительном лабиринте мыслей у Ильи вызрела спасительная идея – кирпичный завод. Ему нужен кирпичный завод, и тогда жизнь снова обретёт поступательное движение, потому что кирпичи – это спрос, это маржа. Это вклад в будущее, в конце концов.

– Вот стоит дом девятнадцатого века, – рассуждал он. – И представь: твой пра-пра-прадед его строил. И ты сегодня можешь потрогать прям ту самую кладку. Прям ту самую!

Но Илья медлил, откладывал решение, советовался с женой, а когда та пыталась взбодрить его, раздражался от её авантюризма:

– Она-то на всё согласна, а хлебать потом мне, – ворчал он. – А потом начнётся: пожарные, менты, экологи – этим дай, тем дай...

Время в клинке Ильи проводил в этих мучительных раздумьях. Маятник качался от пустоты к кирпичному заводу и обратно к пустоте. Это доводило Илью до изнеможения. Казалось, вся кирпичная кладка лежит на покато загнутой Илью и с каждым днём давит всё сильнее.

Илья продолжал мять пальцы. Он заметил моё появление, покачал головой, бормоча что-то, потом сунул руку в карман и вынул белую коробку из-под таблеток.

– Сказали вот такое купить, – проговорил он, вертя её в руках. – Говорят, помогает...

Врачи считали депрессию Ильи органической, то есть связанной с нарушением баланса нейромедиаторов, которые отвечают за эмоциональные реакции. Эти вещества похожи на естественные наркотики, которые дают нам чувство радости, эйфории и удовлетворённости. При их дефиците человек не может обрадоваться, как не может завестись исправный автомобиль, если в нём нет топлива. Никто точно не знает, почему ломаются эти механизмы, но иногда депрессия душит даже тех, у кого нет причин страдать от тоски.

Нейромедиаторы похожи на акварельные краски, пятна которых придают жизни красоту и осмысленность. Все наши смыслы заложены природой. Мы идём по цветущему саду и рвём плоды, которые задают траектории наших жизней – от одной радости к другой.

Но когда акварель кончается, сады превращаются в тёмные мётлы. Мы лишаемся компаса и стоим в нерешительности на развилке тысячи дорог. Что есть мы без влечений, азарта, сочувствия, любви и восторга?

Но может быть, всё не так. Может быть, есть смысл и помимо акварельных пятен. Может быть, наши гормональные взрывы вытаскивают из нас что-то, лежащее в самой основе нашего существа, о чём мы пока не имеем понятия. Может быть, нейромедиаторы – лишь фотоны света, которые позволяют нам видеть то, что внутри. Когда выключают свет, мы слепнем, но это не значит, что мир исчезает совсем. Может быть, существует радость другого рода, которую мы ещё не нашли.

В любом случае, антидепрессанты обходятся дешевле, чем поиск нового образа мысли.

– Эй, ты где? – Оля тронула меня за руку и рассмеялась.

Вошла она незаметно, или просто я не заметил.

– Максим всё в облаках витает, – констатировала тёща.

Я секунду смотрел на них недоумённо, потом встал и протянул руку:

– Здравствуйте, Маргарита Ивановна!

С тещей мы здоровались на мужской манер. Она была моложе тестя, хорошо одевалась и также хорошо выглядела. Она коротко стриглась, оставляя чёлку, и немного напоминала солиста мальчиковой поп-группы.

Я обнял Олю. Она коснулась меня ледяной щекой. Пар, который она выдохнула, собирался на её плечах.

В глазах Оли я читал какое-то ликование. Потерявшийся ребёнок, Миша Строев, нашёлся, и это приводило Олю в восторг.

– Блин, я так рада, что он жив! – торжествовала он.

– Где же он был столько дней?

– Говорят, нашли в «Обители первого человека».

– Это секта такая? Которая верит, что обезьяны произошли от людей?

– Не знаю. Ну, секта, да. Следователи сейчас разбираются. Но с ним всё в порядке!

К депрессивному Илье пришла молодая девушка, видимо, его дочь. Она поставила около отца пару цветных пакетов и стояла, кутая ладони в рукава дублёнки. Илья глядел в пол.

– Максим совсем за новостями не следит? – спросила тёща.

– Мне Оля рассказывает, – ответил я сдержанно.

– И правильно, – кивнула она. – Опять про Фирино что-то говорят – так ты в это не лезь! Даже голову не забивай!

– А что про него говорят? – я посмотрел на Олю.

– Да ничего, – она отмахнулась и с досадой глянула на мать. – Стройку там какую-то затеяли. Ничего нового.

– Какую стройку?

– Не знаю. Просто территорию огораживают. И не в Фирино вообще.

Она поспешила сменить тему. У её папы скоро юбилей, губернатора подозревают в сговоре с олигархами, Ваське кто-то расцарапал щёку, а в марте выборы президента...

Мы долго и неуклюже прощались. Олю мучило, что встречала получилась скомканной.

– Ну, Максим, поправляйся скорее! А то как говорят: свято место пусто не бывает, – тёща кивнула на Олю и рассмеялась.

Я пожал ей руку. Она вышла, впустив в вестибюль облако пара.

– Она сегодня как-то воинственно настроена, – сказал я. – Мне что-то нужно знать?

– Да её просто все дёргают, она психует, – отмахнулась Оля, прижимаясь ко мне потеплевшей щекой. – Не обращай внимание. Я в четверг приеду.

* * *

К четвёртой неделе моё настроение стало безразличным, словно на чаши весов положили одинаковое ничто. Жизнь за оградой клиники зарастала, как рана. Блеск Олиных глаз и суета, которую она приносила с собой, выглядели хорошим актёрством. Новости внешнего мира казались мне пересказом старых историй.

Ни о чём конкретном думать не хотелось. Сеансы с Танцыревым выматывали меня так, что в свободное время мне хотелось читать детективы про следователя Волкова, чистить снег или спать. Иногда я ходил на массаж – самое приятное, что было в клинике.

Танцырев не делал ничего необычного. Он как паук цеплялся за нити ассоциаций и тянул их из меня, выплетая какой-то узор. «И что вы об этом думаете?», – переспрашивал он бесконечно. Паутина порой превращалась в стальной канат, который обдирал мне внутренности.

Любой человек иногда копается в своём прошлом, но делает это понарошку. Вместо детского совка Танцырев предложил экскаватор. Прошлое оказалось не песочницей, а военным складом: в нём были сжатые пружины, неразорванные снаряды и капсулы с ядом, и сколько ни уговаривай себя, что это прошло, стоит задеть такую капсулу – твердь уходит из-под ног.

Цепочки ассоциаций вытягивались в цепочки мотивов, и жизнь превращалась в загадочный узор, сплетённый не мной. Где же я? Я всё больше ощущал себя мухой, растянутой на тонких нитях танцыревской паутины.

– Я чувствую себя в тупике. Всё хорошее, что было в детстве, рассеялось, а нового не пришло. Словно после долгого марш-броска я увидел свои же следы, и они оказались следами старика. В каждом старике есть сожаление, жёлчность и маразм. Я вижу себя таким стариком. Я словно прохожу точку невозврата. Ничего не изменится. Всё к этому идёт.

– Что бы вы посоветовали самому себе?

– Не знаю. Не замыкаться на очевидном. Должно быть что-то ещё. Должно быть... Но его нет. Есть чужие правила, которые нужно выполнять с энтузиазмом, потому что тренеры ценят энтузиазм. Даже если за финишной чертой пропасть.

Я возвращался в палату, где сопел, отвернувшись к стене, Плачущий Лёня. Я забирался на койку и сидел, не думая ни о чём. Такая внутренняя тишина возможна только здесь, в клинике. Здесь она не привлечёт чьего-то хищного внимания. Тоска – не такое уж мучительное состояние, если не пытаться с ней спорить.

Лёня просыпался. Это чувствовалось по его дыханию и робким шевелениям. Я ставил чайник, наливал в стаканы кипяток, позвякивал ложечкой, чтобы привлечь Лёнино внимание. Он поднимался, хмурый и помятый, принимался за чай, громко прихлёбывал, смотрел в окно и казался ребёнком, которого разбудили в полседьмого утра, чтобы идти в детский сад. Я доставал печенье. Мы перекидывались короткими фразами. Лёня смотрел в окно и надеялся, что в один из дней вместо круглого отражения его головы там появится Рижский залив.

* * *

– Что, Антоша, опять тебя на мороз отправили? – Мец подкрался к Антону сзади, выдыхая струю крепкого дыма. – Вообще не жалеют тебя! В такую погоду пса на улицу не погонишь.

Мороз смягчился, но всё сушил щёки. Снегопад, длившийся всю ночь, почти прекратился. С неба падали лохмотья снега. Отдельные снежинки вцеплялись друг другу в гривы как дерущиеся женщины.

– Здесь не надо курить, – добродушно ответил Антон, облакачиваясь на черенок лопаты.

– Вот именно, – кивнул Мец. – Ты же сколько раз мне говорил. А ещё этот Федя-патриот взял манеру за углом смолить. Ты видел, какая сволочь?

– Видел. Уже сказал ему, – Антон улыбался и поправлял резиночки на руке.

– Ты сказал, а ему хоть бы хны, – не унимался Мец. – Совсем тебя ни в грош не ставят. Что за люди, а?!

Оберег на запястье не давал Антону сказать лишнего.

Мец потушил окурок о сугроб и пульнул в урну, приладился к лопате и начал раскидывать снег с энергией олимпийского гребца. Мецу было важно поймать ритм и тогда он мог работать бесконечно. Я уже бросил попытки угнаться за ним и кидал в своём темпе, от которого всё равно прошибал пот.

– Антон, тебя фрики местные не раздражают? – спросил я. – Вот как Мец, например. Или та тётка, что всё время хороводы в столовой устраивает.

Он помотал головой:

– Да вы неплохие. Не хуже, чем там, – он кивнул за ограду.

На крыльце корпуса появился Пашка, сосед Меца по палате, и замер на последней ступеньке.

У Паши было обсессивно-компульсивное расстройство, поэтому мы звали его Пашка-окээрщик. Сегодня ему не давала покоя расчищенная нами дорожка, потому что плиточный узор, проступивший из-под снега, требовал от него шагать так, чтобы нога всегда попадала на целую плитку: левая – на прямоугольники, правая – на ромбы. Или наоборот.

Обсессивно-компульсивное расстройство заставляло Пашу каждый вечер проводить странные ритуалы, связанные со стучанием головой в стены и пол палаты. Эти глухие звуки служили в клинике сигналом к отбою, потому что свой ритуал Паша выполнял в одно и то же время – в десять вечера.

Ещё Паша страдал навязчивой нумерологией и умел почти мгновенно превращать слова в цифры, складывая порядковые номера букв. Каждый день Паша назначал какое-то число счастливым, и, если первое слово, сказанное ему посторонним, не соответствовало этому числу, он должен был совершить болезненный ритуал очищения, связанный с прикусыванием нижней губы. Нижняя губа превратилась в сплошную язву.

Говорить с Пашей не рекомендовалось, и оставалось загадкой, как Мец уживается в палате с таким чудаком.

– Глянь! – кивнул Мец в сторону Паши, который так и мялся на крыльце. – Не знает, с какой ноги пойти. Иди, помоги ему!

Я вернулся к крыльцу. Мы обменялись взглядами. Паша кивнул на физиотерапевтический корпус, до которого было метров двести. Ромбы и прямоугольники на дорожке мешали ему сосредоточиться.

Я поволок лопату за собой, и снег, размазываясь, образовал узкую тропу, по которой Паша шёл за мной, как за ледоколом.

Я вернулся к Мецу и Антону, стараясь шагать особым образом, чтобы правая нога попадала на ромбы через один.

– Блин, теперь и меня эти узоры достают, – сказал я.

– Вылечат и тебя, не переживай, – усмехнулся Мец.

Мы кидали снег ещё с полчаса, а потом стояли у сарая, где Антон хранил инструменты, остывая. Тут я увидел Гарика, который быстро шёл в нашем направлении.

Это был невысокий мужичок лет сорока с простоватым лицом, которое всегда смеялось, отчего Гарик производил впечатление добродушного человека. Как-то я застал его роющим в столе дежурной – вероятно, Гарик искал таблетки. В тот день я не выдал его, но почему-то он всё равно меня невзлюбил.

Утром он сам заговорил со мной, кичился связями с бандитами, называл себя генеральным директором банка и в подробностях рассказывал, как трахал в подсобке медсестру Марьяну.

Несмотря на скользкий характер, Гарик притягивал людей, и вокруг него сложился кружок таких же странных знакомцев, которые усвоили гариковскую неприязнь ко мне. В общем, у нас сразу возникла вражда.

Когда Гарик подошёл, я шагнул вперёд и сказал:

– погоди, поговорить надо. Это же ты снял то видео? Как сотрудница диспансера бьёт сумасшедшего старика. Ты?

Я не знал этого наверняка, меня интересовала реакция Гарика. Из всех людей в клинике он выглядел единственным, кто сделает такую пакость от моего имени с удовольствием и без явных мотивов.

Лицо его стало брезгливым. Он ускорил шаг и засеменял прочь, выкрикивая:

– Чё-ты там вякаешь, педик? Петух! Ко-ко-ко! Петушок! Грязин – петух!

Это была его навязчивая идея. Он и его дружки были убеждены в моей нетрадиционной ориентации.

Мец, глядя на это, изрёк:

– А ты ему в следующий раз нож под ребро засади.

– Я подумаю.

Мец закурил и вдруг закашлялся так, что дым полетел у него из ушей. Давясь, он спросил:

– Слушай, а чего ты вообще здесь торчишь? Ты же нормальный. На Пашку вон погляди.

На днях полночи ныл: лежит, глаза открыты, воеет как шакал, аж гавкает. Вот кто больной. А ты симулянт. Бока тут налёживаешь.

В этих словах была обидная и обнадеживающая правда.

Мец тем временем отвлекся. По дорожке шла веснушчатая Тоня, пряча ладони в рукава с пушистой оторочкой. В модной курточке с треугольным капюшоном она смотрелась мило, как персонаж мультика про жителей далёкого севера. Мец что-то сказал ей, и она, не поднимая глаз, разулыбалась. Её невидимые глаза стали раскосыми, щёки выпуклыми, нос вздёрнутым и дерзким – она напоминала осветлённую чукотку.

Меня удивляла раскрепощённость Меца в таких ситуациях. Даже санитары подходили к Тоне с опаской: иногда у неё случались истерики. Но Мец считал её дочкой, и она не противилась.

Они ушли в направлении часовни. До меня донёлся обрывок его фразы:

– ... да я и кроликов разводил, но они, знаешь, хуже мышей. Наплодятся, а куда их потом девать? Я сам не торгаш.

* * *

Приёмный покой располагался в конце коридора. Это была небольшая комната с парой кресел, столом и кушеткой – что-то среднее между школьным медкабинетом и клиентской зоной автосервиса. С рекламных буклетов на столе улыбался Ситель.

В приёмный покой меня позвала медсестра Инга, а сама куда-то пропала, велев ждать. Я взял в руки буклет, удивляясь, насколько по-другому выглядит клиника на профессиональных снимках.

Скоро дверь дёрнулась, я услышал голоса, и в комнату вошли двое. Я сразу узнал капитана Скрипку и от неожиданности встал. С ним был компаньон выше и моложе его.

Голова Инги просунулась в дверь, скользнула по мне довольным взглядом, словно бы Инга обещала мне, что всё будет хорошо, и всё действительно стало отлично. Голова тут же исчезла.

– Чего ты вскочил, Максим Леонидович? – усмехнулся Скрипка, располагаясь у стола. – Нам велели тебя не волновать, а мы и не собирались. Ты присаживайся.

Скрипка создавал столько шума, словно вошли сразу пятеро: он сопел, шуршал одеждой, принимал и сбрасывал телефонные звонки. Его напарник был похож на молодого адвоката с короткой стрижкой, в которой угадывалось армейское прошлое. В руках он держал тонкую красную папку, которая обещала интересный разговор.

Они со Скрипкой казались героями разных фильмов. От Скрипки исходила непосредственность дешёвого сериала, где звук пишут на съёмочной площадке и актёры работают наполовину экспромтом. Его напарник был вырезан из какого-нибудь американского фильма, снятого качественно и не имеющего других достоинств. Он смотрел на меня с холодной нетерпеливостью, словно этот визит отвлекал его от важных дел.

– Гляди, Костя, как живой! – кивнул на меня Скрипка, сощурившись.

Напарник не отреагировал. Он протянул мне удостоверение: Григорьев Константин Сергеевич, пресс-служба управления ФСБ. Пресс-служба? А казалось, целый следователь.

Григорьев словно ждал, когда эфир очистится от Скрипкиной возни. Заговорил он вежливо и холодно:

– Максим Леонидович, у меня к вам несколько вопросов. Это просто беседа. Хорошо?

Я кивнул. Медлительность пресс-службиста забавляла Скрипку. Как ждущий на станции паровоз он заволакивал комнату паром немного сарказма, ёрзал, усмехался, отплясывал пальцами чечётку на другой папке, чёрной, которую прижимал к столу своей тяжёлой рукой.

Григорьев не одобрял свободных манер Скрипки. Он говорил мимо капитана, как если бы того не существовало.

– Вы следите за новостями? – спросил он.

– Не особенно, – ответил я аккуратно.

Григорьев достал из папки несколько листов и протянул мне.

– Что-то из этого вам знакомо?

Я взял бумаги. На первом листе был рисунок вроде логотипа, напоминающий две скруглённые сопки с надписью Rhino вдоль нижней части. Потом шли распечатанные фотографии каких-то незнакомых мне подростков. На ещё одной фотографии был взрослый мужчина, снятый на кафедре рядом с университетской доской. Судя по надписям – преподаватель истории.

Я узнал лишь одну фотографию.

– Это Галина Пашина, экоактивистка. Её, по-моему, все знают.

– Хорошо. А остальные?

Григорьев всмотрелся в меня. Я вернул ему папку:

– Никто не знаком.

– Ладно. Кто-то выходил с вами на связь? – Григорьев выровнял листы по краю папки, чтобы стало красиво.

– В каком смысле?

– Ну, звонил, предлагал что-то, агитировал?

Я пожал плечами, стараясь уловить, к чему клонит Григорьев.

– Белый носорог о чём вам говорит? – спросил он.

– Белые носороги со мной ещё не говорят.

Он не уловил иронии. Скрипка ёрзал, и Григорьев стал жёстче:

– Галину Пашину вы знаете лично?

– Я видел её пару раз. Не понимаю, что именно вы хотите узнать.

Скрипка не выдержал, сделал жест напарнику, словно припечатал ладонью, подсел ко мне ближе и сказал негромко, как если бы мы были одни:

– Грязин, да ты не замыкайся в себе. Если есть что рассказать – расскажи, если нет – никто тебя не обвиняет. Смотри какая ситуация: «Белый носорог» – это группа, которая называет себя экологическим движением. Ну, как бы экологическим, – он сделал жест, означающий кавычки.

– Экстремистская организация? – спросил я прямо.

– Это выяснить надо, – Скрипка повысил тон, будто я с ним спорил, но сразу же сбавил. – Грязин, я знаю: ты человек сердобольный, радеешь за слонов с запором и вымирающие виды птиц, поэтому складывается впечатление, что ты с ними как-то контактируешь.

– Не впечатление, а факты, – вставил Григорьев.

– Очень у вас мировоззрение схоже, понимаешь? – Скрипка всматривался в меня. – Но это не главное: они из тебя сейчас делают этакого Джулиана Ассанжа, мать его, в кепке, жертву коварного режима, понял?

Он кивнул неопределённо в сторону Григорьева, который всё маячил своей красной папкой. Скрипку, видимо, забавляло моё недоумение:

– Видишь, а ты даже не в курсе, что твой грязинский бренд незаконно используют. Рассказывают, что якобы люди в сером пристроили тебя в дурку, хотя мы-то с тобой знаем, что у тебя крыша подтекала и без нас. Я тебе не слишком волную?

Я помотал головой.

– В общем, Грязин, чудеса про тебя пишут: мол, в смирительной рубашке ты, и кормят тебя через воронку или даже клизму.

– Это не про него речь шла, – нахмурился Григорьев.

– Да не важно! Главное, «Белый носорог» распускает про тебя дезы, а ты сидишь тут и розовеешь день ото дня, хотя их послушать – должен уже истлеть. И мы вроде как виноваты. Согласись, несправедливо.

– Я вас не обвиняю.

– И правильно. Но у людей создаётся нездоровый ажиотаж.

– И что делать?

Григорьев ответил нетерпеливо:

– Вы, Максим Леонидович, слишком внезапно пропали из информационного поля, что позволило шарлатанам использовать ваше состояние в своих целях. Надо вернуться в медийное пространство. Вы могли бы один-два раза в неделю вести блог, например.

– Блог о чём?

– О погоде, о настроении, о фильмах, которые вы посмотрели. Нужно прекратить спекуляции на тему вашего принудительного лечения.

Григорьев смотрел выжидательно. Я разглядывал сцепленные пальцы.

– А что с озером Красноглинным? – спросил я. – Что с РИТЭГом, который мы нашли в прошлом году?

– При чём здесь это? – удивился Григорьев.

– Если я вернусь в медийное пространство, меня будет волновать этот вопрос. Я не буду писать, как красиво падает снежинка на рукав, если вопрос с Филино не решён...

Григорьев перебил:

– Максим Леонидович, всё уже решено, проверено и выяснено. Есть несколько сумасшедших, которые публикуют разные теории. Вопрос с Филино закрыт. Можете писать про снежинку.

– И в чём была причина заражения?

Григорьев впервые взглянул на Скрипку и проговорил не очень уверенно:

– Не вся информация открыта. Но причин для беспокойства нет.

Скрипка вдруг посмотрел на него с нажимом и сказал:

– Костя, я тебя догоню. Дай нам пять минут. У нас тут один разговор по старой памяти есть.

Григорьев нехотя встал, забрал свои вещи и вышел за дверь. Скрипка плеснул воды в стаканчик, шумно отпил, сел обратно и уставился на меня.

– Ты напрасно характер показываешь, Грязин.

– Угрожаете?

– Да не я тебе угрожаю! – бугристое лицо Скрипки вдруг покраснело. – Прописать тебя в подобных заведениях не так сложно. Этот вариант тоже обсуждается.

– Кем?

– Грязин, очнись! Тебе нужно сейчас сотрудничать, а не условия выставлять. Это я тебе как старый знакомый с большим жизненным опытом говорю.

– Я не буду писать про снежинку.

– Это Григорьеву объясняй. А мне расскажи про своих информаторов. Ты же не случайно ту болванку у Красноглинного нашёл. Карта у тебя была? Координаты? Ну?

Я молчал.

– Ладно, давай растопим лёд по-другому. Я тебе кое-что расскажу, но строго между нами, – он дождался моего кивка. – В декабре были исследования грунта и воды озера Красноглинного, но ничего критичного белые халаты не нашли. Тем не менее ил на болванке, что ты принёс, содержит следы цезия, стронция и незначительного количества плутония, происхождение которых не известно. Отсюда вопрос: почему ты искал именно там?

– Случайность.

– Много у тебя случайностей в жизни, Грязин. Ты одно запомни: «Заря» к этому отношения не имеет, так что искать нужно в другом месте. И если поделишься со мной, искать будет проще. Кто тебя навёл?

– Никто. Просто интуиция.

Скрипка несколько секунд пытал меня взглядом. Лицо его дышало жаром и было близко, словно напознал танк с парой монгольских смотровых щелей. От него разило табаком.

– Да я ведь знаю про твои дела, – сказал он медленно и в упор. – И информатора твоего знаю. Одна неприятность, Грязин: теперь он на другой стороне, и скоро ты в этом убедишься. Он тебе больше не друг. Я твой друг отныне, запомни.

Говорил ли Скрипка о Братерском или его отце? Или о ком-то третьем?

– Ладно, – он приподнял со стола папку и сунул мне. – Вот здесь копии некоторых документов. Ничего особенного, но ты всё равно посмотри, может быть, осенит тебя. Мне не звони, сам найду.

Я кивнул.

– И папку держи при себе. Никому не показывай.

Скрипка ушёл, но запах его ещё долго висел в приёмном покое.

Я открыл папку. В ней были ксерокопии старых документов: обложки, таблицы, перечни, схемы и фрагменты отчётов.

Одну из схем я узнал сразу: это была карта, очень похожая на ту, что передал мне через Братерского его отец, Михаил Яковлевич. Карта расположения гипсовых шахт, часть которых стала впоследствии вместилищем для комбината «Заря». Как и на том рисунке один из штреков был густо заштрихован и доходил почти до озера Красноглинного.

* * *

Пользоваться интернетом в клинике мне не запрещалось. У некоторых пациентов смартфон забирали, но Ситель лишь попросил меня не злоупотреблять свободой.

Мне и не хотелось. Соцсети казались мне эхом другой жизни, а интернет – плоским листом, который прессует реальность в одномерные кляксы, незаметные тем, кто смотрит изнутри этих клякс.

Иногда я заходил в «Инстаграм», чтобы отметить Олины снимки, но этим и ограничивался. Мельком я видел враждебные посты в своей адрес, но ленился об этом думать. Критика – это витамин соцсетей, который усиливает их кровоток. Критика не относится ко мне лично. Она существует как электрическое поле, ища удобные поверхности для разрядки.

Мой детокс длился почти месяц, и решение вернуться далось мне непросто, словно бы предстояло войти в зал, полный людей с претензиями.

Плачущий Лёня спал. Смартфон высвечивал моё лицо мертвенным светом. В чёрном зеркале окна я выглядел как вампир со впалыми щеками и тенями вместо глаз.

В Сети спорили о «теории первого человека», которая попала в фокус внимания в дни, когда сектанты нашли того пропавшего мальчика, Мишу Строева. Один из спорщиков яростно защищал идею о Торгонах, пра-людях. Отмотав дискуссию постов на двадцать назад, можно было увидеть, что изначально он просто не исключал такой возможности, но теперь был глубоко убеждён.

Я набрал в поисковике «белый носорог, экологическое движение». Первая же ссылка дала нужный результат. Логотип в виде двух скруглённых сопок оказался контуром носорожьего бивня.

«Белый носорог» был типичной соцсетевой группой зелёной направленности с примесью политического протеста, в которой рассуждения о переработке мусора соседствовали с постами о недопустимости «сидеть на троне 24 года». До выборов президента оставалось менее двух месяцев.

Статья обо мне называлась: «Карательная психиатрия: журналист, раскрывший тайну комбината „Заря“, помещён в психдиспансер». Статья была откровенно нелепой: мне приписывались разнообразные заслуги, включая военную службу и трёх детей.

За правдивую статью о «Заре» я был якобы арестован, подвергнут принудительной психиатрической экспертизе и бессечно помещён в психдиспансер. Автор, похоже, не делал различия между диспансерами и больницами.

Комментаторы звучали в унисон и рисовали меня великомучеником. Но были и исключения. Экологический блогер Илья Садыков написал: «Власти готовы на любую подлость, чтобы заткнуть несогласных, но, думаю, у вас не тот случай. Господин Грязин давно нуждался в наблюдении. Все симптомы параноидальной шизофрении налицо. А вы, господа, абсолютно некомпетентны в вопросах экологии и такими статьями только накручиваете людей».

После скандала с «Зарёй» Садыков называл меня продажным журналистом: в его выпадах чувствовалось что-то личное, хотя мы никогда не конфликтовали.

«Носорожцы» разместили петицию в пользу моего немедленного освобождения. Её подписали 16 человек. Я понял, что дело плохо.

В своих постах «Белый носорог» часто упоминал филинские проблемы, хотя вскользь и бездоказательно. Скоро я понял причину их интереса к вымирающему посёлку.

В постах о Филино упоминался холдинг «Гербела» и некий проект по добыче гипса, который авторы «Белого носорога» называли экологическим харакири области.

Название «Гербела» было мне как будто знакомо. Я снова полез в поисковик. «Гербелу» основал московский предприниматель Герман Беляков в 1993 году, и постепенно из полулегального завода по выплавке алюминия она выросла до огромного холдинга, который специализировался на добыче полезных ископаемых, металлургии и производстве стройматериалов.

В середине января появились сообщения о начале «Гербелой» геологоразведочных работ около посёлка Мишкино, который находится в 8 километрах севернее озера Красноглинного. Работы якобы уже проводились в 2017 году, но были приостановлены по неизвестной причине.

Авторы «Белого носорога» утверждали, что на самом деле бурение скважин планируется в непосредственной близости от Филино, а топоним Мишкино выбран лишь для маскировки.

Чуть позже представители «Гербелы» выпустили пресс-релиз. Холдинг изучает возможность строительства завода по производству гипсовых панелей и получил разрешение на разведку запасов гипса близ Мишкино. Ни Филино, ни Красноглинное в релизе не упоминались, а место геологоразведки не конкретизировалось.

Публика воспринимала планы «Гербелы» равнодушно. Добыча гипса около Мишкино нагоняла на читателей скуку, и статья дирижаблевского Виктора Самохина собрала униженно мало просмотров. Виктор Петрович и написал её формально, в одном месте перепутав гипс с известняком.

Галина Пашина, чью фотографию показывал мне пресс-службист Григорьев, в группу «Белый носорог» не входила, но их позиции сочувствовала. У Галины было своё движение «Планета – наш дом», на сайте которого она публиковала гневные посты. О чём бы она ни писала, она писала обо всём сразу. Её записи выглядели примерно так:

«...заявления чиновников ЛОЖЬ И ОБМАН!!! ...содержание изотопов НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАМ НРБ-99/2009!! ...обнаружена почвенная КИСЛОТНОСТЬ PH=5,0!!! ... для вырубki лесов СОЗДАЮТСЯ ПРЕДПОСЫЛКИ И УСЛОВИЯ! ...мною с 2007 года предлагается УЧРЕДИТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА!!!».

В ответ на публикации «Белого носорога» Пашина долго рассуждала о механизме отложения сульфатов и водном дефиците области, а в конце резюмировала, что журналист Максим Грязин начал хорошее дело, но занимался им поверхностно и быстро сдался.

Среди множества однотипных статей меня заинтересовал пост некоего блогера Феликса Крушельницкого, о котором я раньше не слышал. В отличие от «Белого носорога» автор поднял документы советского времени и выяснил, что гипсовое месторождение Нечаевского района расположено в северо-западном направлении от озера Красноглинное, то есть в стороне от Мишкино. «Заря» разместилась в гипсовых выработках, начатых ещё в 30-е годы прошлого века. Поскольку зона в непосредственной близости от «Зари» была закрыта, с точки зрения добычи гипса интерес представляли нетронутые районы на северо-запад и юго-восток от «Зари».

Если бы «Гербелу» интересовала северо-западная область, удалённая от Филино и Красноглинного, логичнее было бы привязать проект к районному центру Нечаево и там же строить завод, писал Крушельницкий. Но раз «Гербела» выбрала в качестве топонима Мишкино, значит, им нужны были залежи на юго-восток от «Зари» вблизи озера Красноглинное и Филино. Подобную геологоразведку Крушельницкий без обиняков называл авантюрой, поскольку причины аномальной заболеваемости в Филино оставались неясными и могли быть связаны с подземным источником заражения.

Крушельницкий ссылаясь на мою удалённую статью, но не приписывая мне невероятных заслуг. Это был тот случай, когда чья-то критичность в твой адрес приносит облегчение,

словно духовник заглянул тебе в душу. Мою гипотезу насчёт «Зари» Крушельницкий называл поспешной, но общую интонацию статьи – правильной. Он подчеркнул, что источник филинских проблем действительно не установлен, и пока это так, любые масштабные работы вблизи посёлка должны быть запрещены.

Проект «Гербелы» Крушельницкий считал подозрительным и с точки зрения экономической целесообразности. Если под «Зарёй» гипсовые залежи образовывали толстые пласты и линзы, вблизи Красноглинного гипс залегал ближе к поверхности, но имел сложную форму: слои селенита чередовались с прожилками ангидрида и глины, что снижало чистоту минерала и делало нецелесообразной добычу шахтными методами. Рискованным был и открытый способ добычи из-за близости водоёма. Кроме того, для производства стройматериалов требовался алебастр, а не селенит, поэтому, считал Крушельницкий, «Гербела» должна дать детальное обоснование своих планов.

Блогер прошёлся и по самой «Гербеле», изучив опыт работы компании в других регионах. Методы холдинга он называл «саранчёвыми» и в качестве примера приводил несколько брошенных медных карьеров, отвалы которых травмировали реки поблизости.

Под постом Крушельницкого развернулась ожесточённая дискуссия, и половина читателей называла его выводы полной чушью. Они утверждали, что залежи гипса есть и севернее Красноглинного как раз вблизи Мишкино, что добыча гипса и ангидрида – это нормальная практика, что «Гербела» является социально-ориентированной компанией и для депрессивного Нечаевского района интерес такого холдинга – это шанс. Но были и те, кто поддержал его.

Блогер Феликс Крушельницкий возник в медийном поле лишь осенью 2017 года, примерно в то время, когда я бродил в окрестностях Филино. За три месяца он набрал хорошую базу подписчиков, публикуя смелые материалы о местной политике и социальных проблемах. Он безбоязненно цеплял губернатора, отыскивал подозрительные госзакупки, писал о долщиках «Алмазов» и причинах многочисленных аварий на теплосетях.

Никакой предыстории Крушельницкого я не нашёл. Он возник из ниоткуда, то есть, скорее всего, писал под псевдонимом и на самом деле был каким-нибудь Андреем Сидоровым.

Но писал Крушельницкий легко и остро. Я нажал кнопку «Подписаться».

* * *

Утром, едва изморось на стекле зажглась розовым, я взялся за документы Скрипки. Лёня ворочался, уткнувшись с стену и тихо бормоча.

В папке было двадцать восемь листов, которые надёргали из разных пачек и разложили в беспорядке. Здесь были фрагменты личных писем, выдержки из каких-то распоряжений, перечни и схемы.

Я взял заполненный от руки список фамилий. В первой графе – пятизначные номера дел. Фамилии, имена и отчества вписаны небрежным почерком через графы с заголовками: «Год рождения», «Кем осуждён», «Когда осуждён», «На какой срок», «Конец срока», «Примечания». Фамилии шли без видимого порядка: Гурич, Книгин, Величко, Кузнецов, Чичин, Мингалёв...

После ксерокопирования буквы исходников стали дырявыми, словно их проела моль.

На рукописном листе с номером страницы 78 мне удалось разобрать: «Комиссия в составе т. т. Жигунова С. Т., Драчунова А. М., Прокопенко Г. В. и Неверова П. К. составила настоящий акт в том, что нами проведена индикация гроба из дуба, обивочной ткани из шёлка, подушечек и наматрасника, уложенных в гроб, на наличие ОБ и проверка на присутствие радиоактивных веществ при помощи прибора „ПОР“. Результаты проведённой проверки показали отсутствие ОБ, радиоактивных веществ, а также посторонних предметов».

Под ОБ, видимо, подразумевались отравляющие вещества. В нижней части документы были подписи членов комиссии и неразборчивая дата: цифры походили на 1932 или 1952.

Может быть, Скрипка издевается надо мной? Суёт копии случайных документов?

На бледной справке – приказ о присвоении какому-то начальнику звания «инженер-капитан пути». Я набрал фразу в поисковике: инженер-капитан предсказуемо оказалось воинским званием для работников железных дорог. Фамилия капитана – Федорчук.

Слабо пропечатанный лист был озаглавлен: «О плане научно-исследовательских работ специального состава „Паутинка“». Ниже шло несколько пунктов: утвердить план согласно приложению, составить перечень особо важных задач, обеспечить теоретическое и экспериментальное обоснование применимости состава «Паутинка» и так далее – всего восемь пунктов.

На следующем листе буквы оказались мелкими и размазанными, будто их закидали чёрными снежками. Мне удалось расшифровать лишь один абзац: «Около половины заключённых страдают тяжёлыми неизлечимыми недугами и являются совершенно нетрудоспособными».

Далее шла нарисованная от руки карта железнодорожной развилки. Объекты были подписаны без особой конкретики: Свх. (овощ.), Кирп (или Кипп?), Гл. Кирп «Победа», Вдхр. (техн.).

Встретилось личное письмо с тонкими шрамами складок и штампом «Просмотрено военной цензурой». Письмо было адресовано Лене от некого С. Р., который без особой конкретики вспоминал военную операцию под Ковелем перед наступлением на Люблин и передавал привет сыну Сашке. Судя по тому, что цензура пропустило письмо с намёками на военную операцию, написано оно после войны.

Дольше всего я рассматривал карту шахт – копию той схемы, что передал мне отец Братерского. Я положил оба листа рядом и нашёл немало отличий: версия Братерского была вольным изложением более строгой и ровной карты, которую принёс Скрипка.

Если верить схеме, залежи гипса действительно располагались на северо-западе от озера Красноглинного, как и писал блогер Крушельницкий. Шахты имели сложную конфигурацию, и Скрипкина схема воспроизводила их детальней.

Заштрихованный штрек вёл в сторону озера Красноглинного и, по моим прикидкам, проходил в двух-трёх километрах от места, где сейчас располагалась «Заря».

Я вышел в коридор и набрал отца Братерского. Тот ответил почти сразу. В трубке что-то шумело, сглаживая резкость его голоса. Чувствовалось, что он почти кричит:

– А, начальник! Здравия желаю! – он аж закашлялся от восторга, словно ждал звонка.

Михаил Яковлевич тут же нагрузил меня историей о крысах, которые живут в канализации и через неё попадают сразу в квартиры. Он настаивал, что недавняя вспышка кишечных инфекций была спровоцирована именно крысами, и предлагал сходить на любую помойку ночью с фонариком и посмотреть, что там творится. Я мягко закруглил разговор о крысах, пообещав, не без злорадства, скинуть ему телефон главреда «Дирижабля» Бориса Лушина.

– Михаил Яковлевич, спасибо вам за схему, которую вы передали через сына. Понимаете?

– А-а-а! – он снова оживился. – Что, заинтересовало? Это ещё цветочки. Я тебе и не такое могу рассказать.

– Откуда у вас эта карта?

Он удивился:

– Как откуда? Сам нарисовал.

– А данные где брали?

– Начальник, так дело-то давно было, в 89-ом ещё. В мае, 12 числа, был я у одного руководителя. Вот он показывал документы. Я их потом зарисовал по памяти. До 2013 года у меня подписка была, а теперь уже без разницы.

– Вы довольно точно нарисовали.

Он удовлетворённо хмыкнул. Я подзабыл, что у Братерского-старшего абсолютная биографическая память и события своей жизни он помнит с точностью до дня.

– Михаил Яковлевич, один из штреков на вашей схеме заштрихован. Что там находится?

- Ничего там не находится. Пустота там. Ты лучше спроси, что там произошло.
- Что там произошло?
- Проекты «Грифон», «Магистраль», «Глобус», «Скважина», «Тайга», «Регион» ни о чём не говорят?
- Нет.
- Э-э, – он казался разочарованным. – Сейчас это в школе уже проходят. Ну, о проекте «Глобус-1» должен был слышать. Про него даже фильм документальный есть.
- Что это за проекты?
- Подземные атомные взрывы. Их ещё называли мирными. Была в Союзе такая идея: с помощью атомных взрывов углублять шахты, создавать подземные резервуары, вести геологоразведку. Даже водохранилища хотели делать с помощью термоядерного взрыва. Видишь, до сих пор аукается.
- По-вашему, в гипсовой шахте провели ядерный взрыв?
- Может быть, она не гипсовая. Залежи гипса западнее, а тут могли что-то другое искать, верно?
- Вы реально думаете, что в Советском Союзе под землёй взрывали атомные бомбы?
- Михаил Яковлевич слегка обиделся:
- Не бомбы, а специальные заряды. Мощность у них поменьше, но заражение на годы оставалось. Вот в Филино то самое и произошло.
- Вы это откуда знаете?
- Знаю. Догадался. А ты лучше спроси, что там этим москвичам около Филино нужно.
- Вы о «Гербеле»?
- Не помню, как они называются. Они ищут то, что в Советском Союзе бросили искать после взрыва. Заразили всё и бросили искать. А эти хотят снова расковырять и посмотреть.
- Михаил Яковлевич, в прошлый раз вы говорили, что «Заря» – это командный бункер РВСН и под землёй есть атомная подстанция...
- А там и был резервный командный пункт! – возмутился он. – Начальник, я же тебе рассказывал! Это они его потом под хранилище переделали, когда в 2004 году расформировали 69-ую дивизию. Ну, такие площади! Не пропадать же. А взрыв атомный был году, наверное, в 85-ом или 86-ом.
- Как-то нелогично: взрывать атомный заряд под боком у командного бункера...
- Так, может, они его на прочность испытывали! – разгорячился Михаил Яковлевич и принялся доказывать мне, что именно поэтому инцидент, в отличие от остальных подземных взрывов, был строго засекречен. Военным понадобилась его помощь именно потому, что взрыв привёл к обводнению некоторых тоннелей.
- Я развернулся и внезапно увидел Сителя: он стоял около лестничной клетки и смотрел на меня так, словно застал за воровством таблеток. Я наспех попрощался с Михаилом Яковлевичем, который советовал смотреть девятичасовые новости, чтобы «увидеть эти рожи» – он имел в виду гербеловских начальников.
- Гипс они ищут, как же! – говорил он, когда я наскоро попрощался.
- Сбросив вызов, я подошёл к Сителю.
- Виталий Сергеевич, простите, я, наверное, громко разговаривал? Не хотелось говорить в палате. Мой сосед ещё спит в это время.
- Он замотал головой, и лицо его смягчилось:
- Нет, вы меня извините за вторжение. Максим, я думаю, что вам стоит оградить себя от лишнего стресса. Пока лучше сосредоточиться на лечении. Я вижу, вы легко увлекаетесь.
- Я кивнул и ещё раз извинился.

Вернувшись в палату, я набрал в поисковике «подземные атомные взрывы» и удивился, что в СССР действительно провели 124 подобных испытания, причём 117 – вне ядерных полигонов. Но Филино, Нечаево, посёлок Ключи в списке пострадавших селений не упоминались.

Вечером должна была приехать Оля, но за час она позвонила и перенесла встречу на воскресенье.

* * *

Комната отдыха располагалась на втором этаже в центре здания и имела два входа: из нашего крыла и со стороны женской половины. Телевизор без пульта транслировал единственный канал «Россия 1» и работал почти непрерывно.

В комнате была пара больших диванов, столы для настольных игр, книжные полки и велотренажёр, которым при мне пользовалась лишь бабуля лет семидесяти. В комнате постоянно дежурил санитар. Ёлку наконец убрали: от неё осталась горстка блестящего мусора.

Вечером около десяти санитар обычно отправлял всех по палатам, но сейчас в комнате остались только мы с депрессивным Ильёй, поэтому санитар не спешил. По телевизору шёл плохо сыгранный сериал.

Я сидел в кресле сбоку, когда услышал странный звук, обернулся и увидел, как Илья беззвучно рыдает. Лицо его было искажено, и глаза смотрели в точку, словно перед ним стоял чёрт. Санитар куда-то делся.

Я подсел к Илье и спросил дурацким голосом:

– Илья, ты как? Может, воды?

Он помотал головой и захлопнул ладонью лицо.

– Да-ай! – с досадой проговорил он. – Сериал этот... Напомнил.

Драма по телевизору не показалась мне столь уж душещипательной, чтобы рыдать. В таких сериалах всегда поражает стерильность атмосферы, когда хлопнувшая дверь кажется выразительней диалогов.

На экране некий Игорь уходил прочь по улице коттеджного посёлка, а за ним, скользя и взмахивая руками, спешила Ирочка.

– Всё не так! – кричала она, отчаянно переигрывая. – Это была ошибка!

То ли герой шагал недостаточно быстро, то ли Ирочка в какой-то момент поднажала, но в следующей сцене они уже стояли лицом к лицу.

– Дурочка моя, – целовал он её щёки.

– Тварь проклятая, – добавлял от себя Илья.

Его круглая спина сотрясалась от рыданий. Такое случается: депрессивные пациенты плаксивы.

– Я думал, что забыл всё, забыл, – всхлипывал Илья. – Я же вылечился уже. А сериал этот... опять накатило. Тварь такая... И зовут тоже Ирка. Совпадение же...

Он бормотал довольно долго, и постепенно сложилась картина его боли. Супруга Ильи, Ирина, как-то в пылу ссоры созналась, что в течение года изменяла ему с каким-то Васей, записанным в телефоне как «Газель Почасовая».

– Я видел, как он звонит, – бормотал Илья. – А она говорила: «Мандарины в киоск нужно привезти. „Форд“ сломался». Целый год меня за нос водила.

Сам Илья изменял супруге часто и с размахом, но ближе к пятидесяти остепенился и стал ходить налево под настроение, то есть раза два в месяц.

Потом его дочь связалась с биржевым брокером и стала жить отдельно, а самого Илью накрыли кирпичные мечты. Он перестал интересоваться женщинами и, очистившись, считал себя порядочным семьянином. И тут жена сообщила ему об измене.

– Мимоходом так сказала, но твёрдо, – вспоминал он, водя кулаком по воздуху. – Стоим на кухне, ругаемся, она с тарелками возится. И говорит: а я с Васькой трахалась. Целый год ему давала. И у него на квартире, и у нас. А чего ты удивляешься? Ты своих Марин куда водил?

Выражение «своих Марин» оскорбляло Илью как любое ложное обвинение, ведь Марин у него было две или три.

Его мощная спина выворачивалась дугой и дёргалась от рыданий. Боль закручивала его в клубок, как желудочный спазм.

За нами наблюдал вернувшийся санитар. Он показал в сторону сейфа в подсобке, где держали успокоительные, но я покачал головой.

Илья вдруг распрямился, и лицо его стало почти нормальным.

– Тебе жена изменяла? – спросил он начальственно.

Я не знал, что ответить.

– А-а, – прошипел он хитро. – Изменяла! Все они давалки. Думаешь, пока ты здесь, на неё никто не вспрыгнул?

– Ты полегче, – сказал я, вставая. – Иди в палату, отдохни. Таблетки выпей.

Мысли об Оле вспыхнули во мне, словно на угли плеснули бензина. Если Илья хотел добиться синхронности наших страданий, ему это удалось. Злоба сковала моё горло, как пачка мятных леденцов.

Илья схватил меня за руку:

– Я же отомстить ей хотел, – глаза его сверкали, как у кота. – Хотел отдрать какую-нибудь шлюху и всё Ирке рассказать. Во всех подробностях. Чтобы она прочувствовала! А не смог. Кураж пропал.

Я пожал плечами и хотел высвободить руку, но он вцепился сильнее:

– Может, я люблю её? – бормотал он, но другая мысль отсвечивала в его помутнённых глазах: – Не-ет! Надо мстить. Не хочется, а надо. Это как лекарство. Это незаконченное дело... Как это называется? Гешефт?

– Гештальт.

– Вот. Гештальт незакрытый. Надо закрывать.

Мысль Ильи лихорадочно взлетала вверх. Слёзы сохли на щеках.

– Слышь, а давай прокатимся, – предложил он. – Тут недалеко заведение есть, спа-салон. Там девки нормальные, ручаюсь. Никаких шалав. Здоровые все. Первый сорт. Я плачу. Клин клином вышибают. Поехали!

Я грубо высвободил руку, оттолкнул его, и он рухнул так, будто только моя рука была его опорой.

– Тебе надо, ты и давай, – сказал я грубо.

Илья снова сидел сутулый, как и десять минут назад. Спина его вздувалась. Он мелко хныкал.

Обычный кусок мяса. Тупая безмозглая скотина. Так бы сказал Мец.

* * *

В самом конце пятничного сеанса Танцырев сказал:

– Вы сегодня рассеяны. О чём вы думаете?

– О прошлом.

Полчаса до этого мы обсуждали моих старых друзей, Олю, а через неё – неудачи в сексе, которые Танцырев препарировал легко и безжалостно.

– Расскажите о прошлом, – услышал я голос за спиной.

Поскольку говорил я преимущественно с мухой в плафоне, голос Танцырева казался нейтральным – не голос, а вибрации черепа.

– Я думаю не о своём прошлом, – ответил я. – Я ведь рассказывал вам про свою статью о Филино и комбинате «Заря»? Я не понимаю, почему эта тема меня не отпускает.

– Вы думаете об этом постоянно?

– Я бы хотел забыть. Но меня возвращают к ней. Если я пытаюсь забыть, происходит какая-нибудь ерунда. Около Филино произошло что-то нехорошее, но очень давно и...

Я замолчал.

– О чём вы подумали?

– Об отце, наверное. Он умер в мае, и май с тех пор казался мне ужасным месяцем – чёрной дырой календаря. Первого мая у меня упадок сил: погода хорошая, выходной, шашлыки, а настроение могильное.

– А что, по-вашему, могло произойти около Филино? Любые предположения.

– Не знаю. Там внизу шахты, и могло случиться что угодно...

– Продолжайте. Вы что-то вспомнили?

– Мне как-то приснился кошмар... В нём были коридоры – и всё отравлено. И в том сне мы искали какую-то дверь, где должен быть... не знаю... клад, что ли. Что-то очень ценное. Но когда были уже близко, я понял, что мы ищем могилы. Мы дошли до камеры, отперли, и там сидел человек... Не человек, а мумия в ожогах и в бинтах... Он должен был умереть, но у него не получилось... Он очень долго просидел, может быть, тысячи лет.

– Кто это был?

– Я не узнал. На лице был грим, как в кино. Лицо пришельца. Он очень устал... И всё в нём было выжжено изнутри... Чёрное мясо. Он обернулся ко мне и сказал: «Надо взять открывашку».

– Открывашку? Что это значит?

– Обычную открывашку для бутылок. Когда он это говорил, казалось, мы давно знакомы и собираемся на пикник, что ли. И говорил он как бы изнутри этой мумии.

– Как вы объяснили этот сон?

– Да никак. В тот момент я ещё был убеждён, что «Заря» – это хранилище радиоактивных отходов, и мне часто подобная хрень снилась. Сожжённые тела, лабиринты, бункеры. Оля говорит, я слишком мнительный. Так и есть, в общем.

– Тогда вы были убеждены насчёт «Зари». А сейчас?

– Сейчас я просто не знаю.

Время сеанса подошло к концу. Я сел на кушетку, чувствуя головокружение.

– Устали? – спросил Танцырев, закрывая блокнот, который держал на столе во время наших бесед. Его работу иногда выдавал скрип авторучки.

– Да. Почему-то эти разговоры ужасно выматывают. Если честно, я не чувствую облегчения.

– Вы чувствуете сопротивление. Это нормально. Образно говоря, ваше прошлое лежит в таких же шахтах, и вы пытаетесь пробурить слой грунта, чтобы выпустить содержимое наружу. Когда это произойдёт, наступит и облегчение.

– А если мы выпустим совсем не то, что предполагалось? Если внутри всё слишком заражено? Если внутри одна гниль?

– Когда прошлое лежит спокойно и человеку комфортно, мы не трогаем его. Но ведь прошлое отравляет вашу жизнь уже сейчас.

* * *

Вечером в комнате отдыха помимо меня было трое. Бедовый Витя сидел на диване, развалившись и раскинув руки, словно его бросили с большой высоты. В ладони он зажимал неработающий телефон.

Зануда Фёдор и вертлявый Коля играли в «Монополию». В клинике была парадоксальная версия игры, где вместо предприятий нужно было покупать города. Самыми дешёвыми были почему-то Санкт-Петербург и Красноярск, самими дорогими – Пермь и Екатеринбург.

– Вы Москву брать будете? – спросил Фёдор. – Два миллиона четыреста. У вас нет двух миллионов четыреста. Вы, как все либералы, авантюрист. Москву вам не взять.

– А вам лишь бы всё было стабильно, – окрысился Коля. – Сжечь вашу Москву надо! Кровь сосёт из всей России! Посмотрите, что стало с регионами: двести километров от сто-

лицы – разруха, дома брошенные, наркоманы. А что с Сибирью? С Дальним Востоком? Скоро всё это затрещит по швам, вот увидите...

– Двадцать лет эти прогнозы слушаю. Вы, уважаемый, предложите лучшую схему, – невозмутимо ответил Фёдор, болтая кубиками в кружке. – Шесть. Сыктывкар. Покупаю. Как будто в других странах нет явно выраженного экономического центра: Нью-Йорк, Франкфурт, Шанхай...

– Вот именно! Столица – это одно, экономический центр – другое, культурный центр – третье, а у нас...

– А у нас Санкт-Петербург. И Сочи. Тюмень прекрасный город. А вы были в Калининграде? В России при её масштабах нужна централизация власти на всех уровнях, как требует наш исторический уклад...

– Какой уклад? 17 миллионов квадратных километров! Нужна полная децентрализация! – верещал Коля.

– Как вы это себе представляете?

– А почему Казани вашей разрешена свободная экономическая политика? – Коля кивнул на карточку из обложки Фёдора. – А Чечне почему столько преференций? Потому что в Кремле трусы сидят: боятся власть упустить! Кто заявляет о себе, тому подачки кидают! А мы тут сидим, утираемся, штаны последние донашиваем! Вот нас и имеют!

– Это вас имеют, – невозмутимо гудел Фёдор. – У остальных всё прекрасно. В России идёт восстановление социально-экономической сферы. А вы знаете, сколько в Европе длились средние века? Мы за двадцать лет из разбойничьей страны превратились в мировой центр силы. Вы, уважаемый, кубики-то кидайте.

Коля остервенело тряс кружку:

– Оружием бряцать научились за двадцать лет... – он швырнул кубики, и они разлетелись по полу.

Коля нырнул следом:

– Одиннадцать у меня. Бряцать научились, а с колен никак не поднимемся, – констатировал он, стоя на четвереньках.

Эти двое всегда находили друг друга. Где бы ни появился Фёдор, рядом рано или поздно возникал Коля. Иногда градус их спора повышался, санитар угрожающе привставал, и оба сбавляли обороты, чтобы минут через десять сцепиться опять.

Фёдор был значительно старше и выглядел устало. Под оплавленными глазами собрались роскошные мешки, спускаясь каскадом к самым щекам. Рубашку он заправлял в трико, натягивая его на большой живот, отчего сбоку его ноги выглядели треугольными. Ходил он шаркающей походкой, и когда говорил с кем-то, разворачивался всем корпусом, демонстрируя узкую, слегка выпяченную грудь с неизменным кармашком. Скомканный платок в нём придавал кармашку беременный вид.

Коля был совсем молодым, тощим и шарнирным, и чтобы говорить, ему нужно было двигаться, поэтому он беспрестанно вскакивал или дёргал руками, время от времени сметая что-нибудь со стола. У него были светлые всклокоченные волосы, и, казалось, на ветру его причёска превратится в перекати-поле и сбежит. Возможно, он стриг себя самостоятельно, думая в это время о судьбе российских регионов, поэтому выходило неровно. Говорить с Колей было сложно: глаза его бегали, а взгляд просвечивал удивительной пустотой, будто на Хэллоуин внутри игрушечного черепа зажгли пару свечек.

Как-то они попытались втянуть меня в свой спор, требуя рассудить их в вопросе строительства «Северного потока». Я уклонился, и оба принялись доказывать мне свою позицию, а в конце концов обозвали друг друга и меня блаберидами.

Они обладали удивительной способностью смотреть на одно и то же и видеть разное. Как-то они поймали на шахматном столе насекомое, прихлопнув его прозрачным стаканом. Насеко-

мое отдалённо напоминало клопа. Коля утверждал, что это паук и требовал немедленно отпустить его, потому что убивать пауков – плохая примета и варварство. Фёдор фыркал и настаивал, что это обычный таракан (блаберид вроде вас, говорил он), и, надев очки на самый кончик носа, принимался пересчитывать лапки. У Фёдора выходило шесть лап, Коля видел все восемь и обвинял оппонента в политической близорукости. Фёдор настаивал, что дополнительные лапы – никакие не лапы, а короткие усы, на что Коля раздражался тирадой, мол, у патриотов всегда так: только дай повод кого-нибудь прихлопнуть. Фёдор ухмылялся и говорил, что Коля похож на бешеных экологов, готовых ради внимания к себе защищать что угодно – хоть тараканов, хоть слизней. Колины суеверия насчёт пауков он считал влиянием Запада, потому что «на Руси клопов всегда давили и давить будут». Пока они препирались, их подопытному удалось сбежать, и вопрос о том, является ли он тараканом или пауком, остался открытым.

По телевизору начался репортаж про «Гербелу». Он оказался скупым на подробности и сдержанно радостным. Закадровый голос рассказывал о спасительном импульсе для экономики Нечаевского района, пяти сотнях рабочих мест и обновлении инфраструктуры. Глава района Черноусов, стоя под вывеской администрации, не без гордости рассказал, что месторождение в Нечаевского районе было признано наиболее перспективным на фоне двух альтернатив в Оренбургской области и Пермском крае.

Выступил и представитель «Гербелы». Молодой человек в костюме с галстуком, похожий на амбициозного студента, сидел где-то в московском офисе и был сдержан в комментариях. Он заявил, что компания готова инвестировать в проект до трёх миллиардов рублей, но решение будет принято по результатам геологоразведки.

Журналист упомянул о некоей настороженности жителей окрестных деревень, но глава района Черноусов тут же разъяснил, что люди всегда с опаской относятся ко всему новому. По его мнению, жителей волнует лишь пыль от гипсового карьера, но её подавят за счёт орощения отвалов.

– Девять, – бормотал Фёдор, перемещая фишку на нужное поле. – Пенза моя. Ну вот, хорошее дело делают, – кивнул он на экран. – Если люди хотят жить, они найдут возможности. А вы говорите централизация... Сильный федеральный центр является опорой регионов.

Коля тряс кубики в кружке. Ему нравился звук, отдалённо напоминающий кастаньеты, но ещё больше нравилось, что этот звук раздражает Фёдора.

– Чушь какая-то! – Коля швырнул кубики, и они опять разлетелись. – Всё, что делает федеральный центр – это опорожняет недра. Настоящие кровососы! Сильный федеральный центр! Все деньги там и будут. А что получают жители района? Пыль, грязь и отвалы. Вот что они получают!

Он нырнул под стол, выискивая упавший кубик.

– А как, по-вашему, работает экономика? – Фёдор был невозмутим. – В ваших либеральных фантазиях всё должно свершаться само собой, а в жизни так не бывает. Нужен крупный инвестор, а у инвестора есть интерес. Вы чужие деньги-то не считайте. Пятьсот рабочих мест для такого региона с учётом мультипликативного эффекта – это очень немало.

– А почему тогда люди против? – не унимался Коля из-под стола.

– А люди всегда против. Им нужно жить хорошо, не делая ничего, – вот тогда их всё устраивает. Так, уважаемый, только в ваших сопливых мечтах бывает. Да и кто против? Вы видите, кто против? Я не против.

– Социальная апатия, – мрачно проговорил Коля, отряхивая зачем-то штанины и перемещая свою фишку на Воронеж.

Несмотря на иллюзию грозы, оба пребывали в эйфории.

По телевизору уже показывали человека с длинной негустой бородой, похожей на замёрзший водопад, которого я поначалу принял за бродячего артиста или цыгана. Лицо с впалыми щеками казалось особенно худым из-за широкополой шляпы, съехавшей за затылок и напо-

минавшей чёрный нимб. Появился титр – якобий Усеченский, – причём якобий было чем-то вроде титула. Об этом якобии я слышал от дольщика Игоря и Тихона – он возглавлял местное отделение (земство, как они себя называли) «Обители первого человека».

Сейчас якобий рассказывал, как один из его схоров (учеников) обнаружил мальчика Мишу Строева у егеря, который столкнулся с Мишей в лесу недалеко от дороги.

История пропавшего мальчика прояснилась: утром он сбежал из дома и отправился в поход, которому помешал какой-то доброхот на «Ниве», попытавшийся вернуть его домой – Миша назвал чужой адрес, по пути сбежал, а под вечер заблудился и на удачу столкнулся с егерем. Мальчика доставили в «Обитель», сообщили в полицию, но мороз и сильный буран осложнили дело: вернуть его родителям удалось лишь через три дня.

Дом, где жили фрики, находился в 20 километрах от города, но местность выглядела глухой и чужеродной, словно мрачный кусок сибирского леса. Неподвижные ели спускались по склонам, и обитель фриков почти сливалась с лесом – лишь тускло горело жёлтое окно.

Выпуск новостей закончился репортажем с будущего избирательного участка, где проверяют работу нового оборудования для подсчёта голосов. До выборов президента оставалось полтора месяца.

Я вышел в коридор и набрал Рафика. С тех пор как я уехал из Филино, мы созванивались с ним несколько раз, а Иван всё порывался навестить меня, только я не давал. Я не сказал им, в какой именно клинике лежу. Они думали, я долечиваю воспалению лёгких.

– О-о, привет, привет! – Рафик радостно тянул звуки. – Максим? Слышишь?

Что-то громко выло на фоне. Потом звук стих.

– Бензогенератор молотит, не слышно ни черта, – рассмеялся в трубку Рафик. – Коровник вот утепляем: дуть откуда-то начало. Даже в углу намёрзло. У тебя нормально всё?

– Я просто так звоню, – ответил я. – Как дела вообще?

Детишки учатся, машина бегаёт, Айва пошла на курсы шитья. Насыпало много снега, а тракторист Мирон пьёт и проезды не чистит.

Рафик звал в гости, и я обещал приехать, как только выпишусь. Я спросил его о «Гербеле».

– А, ездят тут какие-то, – ответил он, перекрикивая шипение ветра. – Вибромашины такие, знаешь, как платформы. Встанут и трясут. Говорят, полости ищут под землёй. Поле колючкой перегородили. Лесник запросы писал в районную администрацию, говорят, частная территория.

Подробностей Рафик не знал. Я попросил его наблюдать за районом, а если начнётся движение, позвонить мне.

В комнате отдыха сталолюдно. Депрессивный Илья сидел в углу, глядя на телевизор исподлобья с таким отчаянием, словно вместо детективного сериала транслировали новости о конце света.

Было несколько новых пациентов, которые жались по углам, потому что лучшее место в центре дивана всё также занимал бедовый Витя, раскинув руки и ноги.

Первое время Витя казался мне вполне нормальным, и я даже пытался с ним заговорить. Но в теле высокого широкоплечего человека лет двадцати пяти жило существо с сознанием пятилетнего ребёнка. Он натягивал носки до колена, и заправлял футболку в шорты с одной стороны, всегда наспех. У Вити было много дел.

Витя придумывал невероятные бизнес-идеи и вёл переговоры с банкирами. Витя договаривался с блатными и орал на своего прораба. Экран его телефона всегда оставался чёрным, потому что тётка Вити вынула из него аккумулятор, но Вите это было неважно.

Не все фантазии Вити были безобидны. Одним из его изобретений были дома из мусора, на которых он планировал заработать миллионы. Он построил демонстрационный образец и убедил семью переехать в это жилище на зиму. Всё закончилось трагически: дом загорелся

и токсичный дым убил семью Вити. Сам он по счастливой случайности выжил. Я знал эту историю ещё со времён работы в «Дирижабле»: как-то мы целую неделю обсуждали её на планёрках.

Свою вину Витя не признал, считая, что поджог организовали его конкуренты – компании, занимающиеся коттеджным строительством. Лечение Вити оплачивали два брата, совершенно на него не похожие: невысокие, подтянутые и успешные. Витя отзывался о них скептически (считал, ему завидуют) и норовил поскорее выйти, чтобы заработать денег и отомстить за семью.

* * *

В субботу клиника пустела. Часть пациентов отправляли домой, из медсестёр оставались дежурные. Эти дни я любил и ненавидел. Я старался больше бывать на улице, читал детективы про следователя Волкова, готовил вещи для прачечной, а если получалось, спал под громкую музыку.

После завтрака на выходе из столовой меня перехватил пожилой человек, чьё лицо мне показалось знакомым. Это был невысокий ухоженный мужчина в дорогом кимоно вроде спортивного костюма. Густая шапка белых волос была удивительно ровной и живой и при ходьбе колыхалась как плохо закреплённый парик. Чёрные ресницы под бесцветными бровями создавали впечатление, будто глаза подведены тушью. Взгляд его был прилипчив.

Человек начал с беспроигрышной фразы «... я читал ваши статьи», которая располагает журналиста до момента, пока собеседник не добавит «... но считаю их полной чушью». Впрочем, он не стал конкретизировать.

Он был оживлён, спросил о самочувствии, поинтересовался главным редактором Борисом Лушиным. Моё смятение его, скорее, позабавило.

– Туров моя фамилия, – представил он. – Туров Борис Александрович. Мы заочно знакомы.

Он сказал это с нотками торжества, как человек, чья фамилия слишком известна, чтобы её называть. Впрочем, я действительно узнал Турова, профессионального чиновника, биография которого состояла из ролей второго плана. Это было его особое искусство: пролезать наверх, не становясь мишенью. Заместитель начальника сектора, советник председателя комитета, заместитель главы района, вице-президент сельскохозяйственного объединения, помощник министра и всё в таком духе – Туров, скорее, подразумевался, чем существовал.

Я представлял его человеком молчаливым и скрытным, но Туров оказался болтлив, словно я был членом его банды. Пока мы мялись у моей палаты, он рассказал про инфаркт, который перенёс три года назад, про первый визит в клинику «Фомальгаут», про ставшую ежегодной профилактику. Туров занимал вип-палату на втором этаже.

– Тут хорошо, тихо, – рассуждал он. – Неделя здесь – это ещё полгода полноценной работы.

Говорил он мягко, вынуждая меня прислушиваться. Умение быть вкрадчивым и оформило туровскую карьеру.

Внезапно он заговорил о Братерском, спросив, что я думаю о нём и его методах. Я уклончиво ответил, что мало знаю Братерского, но Туров вдруг безапелляционно заявил, что я работал на Братерского не просто так.

– Вы же помогли ему, когда он валил Шавалеева, – сказал он ласково. – Потом это ваше расследование... забыл. По поводу комплекса «Росрезерва»... как-то он назывался...

– «Заря».

– Вот, «Заря»! – кивнул Туров. – Кому это было нужно? Шеферу. А Братерский – человек Шефера. Шефер хороший приятель Ветлугина. Ветлугин учредитель «Дирижабля», где вы работали. У них общие интересы. Это, в общем, довольно очевидно.

Братерский – человек Шефера? Бизнесмен и промышленник Виктор Шефер входил в тройку богатейших людей региона, но с Братерским у меня не ассоциировался. Сам Братерский, если и упоминал Шефера, лишь в общем ключе.

Моё замешательство возбудило Турова.

– Вы не знали, что Шефер финансирует Братерского? Страховая компания, эта... «Ариадна»? Да, «Ариадна». Так вот, она создана на деньги Шефера. У них ещё совместный IT-бизнес. Да вы и сами всё знаете.

Я неопределённо пожал плечами.

Туров оживился и выгрузил на меня ещё один шахматный расклад. «Семья» Шефера находится в противостоянии с бизнесами Каманских, которым помогал депутат Христов, московский зять которого Шитяков пытался зайти на местный рынок, чему помешали люди Шефера, захватив предприятие «Квазар», которое ранее перекупил некий Щепкин, который является подрядчиком медных разработок на Тиминском месторождении, который знаком с Братерским, который представлял интересы финансовой группы «Джемстоунс», которая через офшоры владеет долей в предприятиях Шефера...

«В доме, который построил Джек», – мысленно добавил я, не уловив и половины.

Я вспомнил, как Боря Лушин однажды получил от прежнего главреда Мостового задание нарисовать схему взаимодействия местных элит. Боря провозился полгода, но эскиз выглядел так, словно ребёнок исчеркал неудачный рисунок – все оказались связаны со всеми. Идею забросили.

Туров заговорил про «Гербелу»: с его слов получилось, что холдинг пришёл в наш регион с подачи Игоря Каманских, главного конкурента Шефера в борьбе за влияние на региональном уровне. Исследовать гипсовые месторождения вокруг Мишкино «Гербела» начала ещё пару лет назад: планировалось совместное предприятие по добыче гипса на паях с Каманским. Политическое прикрытие обеспечивал Ферзев, что означало поддержку на самом высоком уровне вплоть до губернатора. Скандал, который спровоцировала моя статья, приостановил работы. Потом между «Гербелой» и людьми Каманских возник разлад – об этом Туров говорил уклончиво. В конце года «Гербела» решила возобновить проект, но в этот раз политическое прикрытие обеспечили люди Шефера.

– Сейчас против гербеловского проекта поднимается волна по экологической линии, и несложно понять, кто её финансирует, – усмехался Туров. – В прошлом году вы с Братерским мешали «Гербеле», теперь люди Каманских будут мешать вам...

– Проблемами Филино я начал интересоваться по своей инициативе, – ответил я.

Туров начал меня раздражать. Он поднял руки, словно сдаваясь:

– Конечно. Я понимаю. Деньги любят тишину. Забавно, что теперь вам придётся писать в пользу «Гербелы», хотя все считают вас её противником. Но это даже к лучшему. Очень эффективный приём: поддержать то, что раньше критиковал. Можно подать как признак объективности.

– Надеюсь, этого не будет.

– Будет, будет! – Туров двинулся ко мне и негромко сказал: – Скоро такие новости узнаете... Сами проситесь будете.

* * *

На улице потеплело. Воздух утратил колючесть, и на сугробах проявился целлюлитный узор.

Я ходил вокруг фонтана, поджидая Олю с Васькой. Вечером воскресенья суета из клиники вытекала на улицу, ходили пациенты с родственниками и без них, заглядывали мне в лицо, надеясь увидеть своего.

Я стоял спиной к выходу. Незачем смотреть на парковку, как голодный пёс. Я почувствую их приближение.

Со стороны корпуса вышла Принцесса Катя. За ней спешила мама, которая на фоне дочери выглядела удивительной простушкой и едва попевала за ней. Они шли как чужие: Принцесса гордо плыла впереди, мама, глядя куда-то вниз, пыталась попасть в Катин крупный шаг.

В руках у них были сумки: побольше – у мамы и совсем маленькая – у Кати.

– Ты выписалась? – спросил я удивлённо, когда они приблизились. – В воскресенье?

Наверное, мой вопрос показался Кате бестактным, и она прошла мимо, не поглядев. Мама прошептала себе под нос:

– Всё, всё, отмучились. Слава богу, слава богу!

Я смотрел им вслед. Со стороны парковки никто не шёл.

Я отвернулся и стал думать о Шефере, с которым шесть лет назад был недолго знаком. Эти два Шефера – тот и нынешний – казались разными людьми. Их разделяло несколько лет, несколько госконтрактов и сотни миллионов рублей.

Летом 2012 года Шефер был владельцем предприятий по обработке металла. Как-то на меня вышел помощник Шефера и предложил стать соавтором автобиографии шефа. Я по неопытности согласился.

У Шефера было много пафосных идей, например, на обложку он планировал поместить себя с катаной в руках, назвав книгу «Путь». Или назвать её «Взгляд» и оформить обложку в виде огромного глаза, который он для убедительности планировал сделать рельефным. Я же злорадно думал, что на обложке неплохо бы смотрелась рельефная печень Шефера. А книгу можно было назвать «Обмен веществ».

Шефер оказался человеком настроения, был то хвастлив, то замкнут. Он вываливал на меня тонны подробностей, а на следующей встрече раздражённо молчал и переспрашивал, что мне ещё нужно для работы. Концепция книги постоянно менялась. Рассказы о флибустьерских временах ему быстро наскучили, и он попытался превратить книгу в справочник бизнес-идей, а потом – в некий комикс о становлении его предприятий. Иногда он рассказывал любопытные подробности, но запрещал их упоминать, да и были они непечатными.

Скоро я уловил его идею. Шефер хотел, чтобы я представил его аристократом нового времени, связью культур и времён, моральным мерилом и точкой нового роста. Он мучительно искал интонации. Вместо триллера его биография превращалась в эпос о рождении героя из пены смутных времён.

Мне больше нравилась первоначальная идея, в которой Шефер-захватчик скупал бывшие советские предприятия и выдаивал их до капли. В этом повествовании было не так много героики, но была честность, из которой и рождаются герои нашего времени.

Но Шефер по совету помощников стал заливать повествование лаком, и вместо циклопического глаза на обложку рвался восковой манекен в костюме.

В ноябре 2012 года умерла моя мама, и я прекратил работу над книгой. Никто о ней не напоминал. Скоро Шефер пошёл в рост и из местечкового бизнесмена превратился в олигарха федерального масштаба с эшелонированной обороной пресс-секретарей. Из человека, похожего на Карлсона в расцвете сил с лихо зачёсанными волосами и дорогим спорткаром, он превратился в невысокого старичка с чесночной щетиной на голове, который появляется на публике только по очень большим поводам. Наши странные встречи всё больше походили на сон.

Дул влажный ветер. Я развернулся и стал смотреть на парковку. Часы посещения заканчивались, и машины в основном отъезжали.

Позвонила Оля. У Васьки кашель и температура – сегодня никак. Прости, но ты же понимаешь... Да, конечно, никаких вопросов. Как Васька? Нормально. Бредит немного. Ну, обними его от меня. Приезжай в среду, если сможешь.

Вернувшись в палату, я проверил «Инстаграм». Оля перестала его обновлять. Может быть, не о чем было рассказывать. А может быть, рассказов было слишком много.

* * *

Следующая неделя была рыхлой, как бессонная ночь. Я стал нездорово пассивен. Никто меня не держал в клинике, но менять что-то было лень. Я словно ехал на велосипеде по песочному пляжу, когда проще идти пешком, а ещё лучше – лежать.

Механика танцыревского подхода становилась всё более очевидной. Он вытаскивал на свет грязное бельё, просушивал и возвращал обратно. Наше прошлое – это просто бытовой мусор, и главное – не дать ему сопресть.

Круг тем замкнулся. Мы говорили о родителях и друзьях, об Оле и о снах, о комбинате «Заря» и моём воображаемом брате. Танцырев просил представить его внешность и возраст, возвращая меня к видению на берегу Красноглинного, но дальше этого дело не шло.

Там, в окрестностях Филино, было нечто страшное и подвижное, что требовало выхода, без чего остальная жизнь становилась плохо сыгранным спектаклем.

Иногда Танцырев разглядывал эскизы, которые я рисовал в палате или комнате отдыха от безделья.

– Обратите внимание, сколько остроугольных вершин, – говорил он.

С рисунков торчали локти, шпильки, остроносые ботинки, уходящие к горизонту рельсы и оконечности заборов.

– Что это значит? – спросил я.

– Это ваше напряжение, – пояснил Танцырев. – Продолжайте. Рано или поздно оно выйдет наружу. Не препятствуйте этому.

Он предложил мне ходить на арт-терапию. Я как-то заходил в класс и даже попробовал играть на гитаре, но пальцы показались деревянными, а сам инструмент лёг мне на колени, как неживая рыба. Мне даже показалось, я ощущаю вонь протухшей чешуи. Танцырев сказал, что мне лучше рисовать.

Оля должна была приехать в среду, но заразилась от Васьки и свалилась с высокой температурой. Голос её стал тяжёлым и не своим.

– Ой, нос уже весь стёрла, – жаловалась она. – «Симпсонов» смотрю. Надоели уже. Две тренировки пропустила.

– Хочешь, я приеду? С Васькой посижу?

– Ты что?! Заразишься.

Одиночество стало осязаемым, как слишком влажный воздух. Кругом стало много пустого места. Шаги звучали странным эхом. Я шагал куда-то, но мир в это время шагал прочь. Мы словно плутали по разным лабиринтам.

Маршруты казались короткими, расстояния – огромными. В этой диспропорции была издёвка. В среду я так устал от ходьбы, что весь четверг пролежал в палате на манер плачущего Лёни, заставляя себя слушать музыку.

В курилке я встретил Тихона. Он редко появлялся на людях. Я никогда не видел его в столовой: возможно, у него было спецобслуживание.

Тихон мямлил губам незажжённую сигарету, глядя в окно. Он услышал моё появление, но не повернулся. Моему отражению в стекле он сказал:

– Вы надеетесь на лучшее.

Было неясно, вопрос это или утверждение.

– Говорят, так надо, – ответил я. – Надо где-то черпать силы.

Он кивнул, словно я сказал что-то очень правильное. Глаза его чуть сузились. Они казались смеющимися.

– Я вот иногда думаю... – проговорил он, и сигарета колыхнулась в такт. – Я думаю: ведь бывают напрасные жизни.

– Что вы имеете в виду?

– Родился ребёнок, в пять лет поставили диагноз, родители продолжили бороться и боролись, собирали деньги, вывезли в Европу, долго лечили, но в семь лет он всё равно умер, так ничего и не увидев. Разве нет в этом ужасной напрасности?

На слове «ужасной» он сморщился, словно раскусил клюкву.

– Вы о чём-то личном?

– Нет, – он тряхнул головой, сминая в мецевой банке из-под шпрот незажжённую сигарету. – Нет, просто подумалось. А может быть, мы все напрасны?

– Вам здесь не очень помогают? – спросил я аккуратно.

– Эти копания в себе – напрасная вещь. Мы платим деньги, чтобы нам показали собственную ничтожность, словно она и так не очевидна. Лучше впасть в добровольное безумие. Чем я и планирую заняться вечером. Я нашёл хороший сериал.

Тихон ушёл, оставив после себя слабый запах одеколona, – отголосок какой-то другой его жизни.

Как-то на крыльце меня остановил человек южной наружности и спросил с сильным акцентом, как найти главврача. У него было тёмное щетинистое лицо и пристальный взгляд. Массивный перстень на пальце не давал ему покоя: он тёр его ладонью, словно пытался вызвать джина. Он был нетерпеливым и злился, что я его плохо понимаю.

– Э, слышь, ну, мне нада... Ты эта... Здесь живёшь? – он кивнул на корпус.

– Да.

– А Вовку-кузнеца знаешь?

– Не слышал о таком.

– Такой тощий, старый. Ну?! – южанин смотрел так, словно поймал меня на лжи.

Я ответил, что Вовку-кузнеца не знаю, а чтобы он не увязался за мной, предложил зайти с бокового входа, который зимой был всегда закрыт.

Он искал Меца. В курилке я рассказал тому о визитёре, но Мец лишь отмахнулся. За последние недели ему стало значительно лучше, и из странного замкнутого деда он превратился в любимца медсестёр и половины пациентов.

– Что этим южанам от тебя нужно? – спросил я.

– Не знаю. Фанатики какие-то. Делать нечего. Придумывают всякую чушь.

Мысли такого рода его почему-то не заботили и не пугали.

За такими беседами, нелепыми и увлекательными, мы проводили вечера.

Иногда к нам присоединялась Галя – новая пациентка, поступившая в клинику в феврале. Ей было лет пятьдесят, и выглядела она занимательно. Её светлые волосы были очень длинными, потому что Галя панически боялась их стричь. Волосы она складывала сложными локонами, напоминая чалму.

Её блёклое лицо располагало к себе простотой и застенчивостью. Голубые глаза внимательно смотрели через узкие треугольные щёлки, словно Галя видела исходящий от нас свет. Она была довольно разумной, и, хотя говорила неспешно, мне почему-то нравилось её слушать.

У Гали была ещё одна фобия: она боялась электромагнитных волн. Это напоминало аллергию на излучения. От разговоров по сотовому её щёки покрывались сыпью, а звук работающего компьютера доводил до зубной боли. В прошлом году Гале пришлось переселиться из городской квартиры мужа в садовый дом, где она прожила почти год вместе с приبلудной кошкой Грушей. Угрозой был даже электрообогреватель, поэтому дом отапливался дровяной печкой.

Галя чувствовала заражённость эфира. Может быть, она реагировала не на электромагнитные излучения, а на ту чушь, которую эти излучения переносят. Она не пользовалась телефонами или интернетом, не смотрела телевизор и не читала электронных книг и всё равно казалась удивительно здравомыслящим человеком.

Но электрофобия тяготила её. Галин сын был управляющим московского банка и жил в самом эпицентре излучений. Из-за болезни матери они почти перестали общаться. Галя страдала от невозможности позвонить ему и увидеть внуков.

В курилку она часто приносила металлическую кружку, которую наполняла крутым кипятком из чайника медсестёр – те позволяли Гале такую вольность. Я не знаю, зачем Галя так мучила себя, обжигая об кружку руки до волдырей. Если я пытался помочь, она отнекивалась.

– Галя, давай я изолентой вот здесь перехвачу, – предлагал я.

– Не надо.

Галя избегала пластмассы и прочих полимеров.

Иногда я занимал себя изучением документов, которые принёс Скрипка, перечитывал и пытался вообразить мир, который их породил. Представления были обрывочными. Серые робы невольников и пятна тусклого света. Офицерская форма и сверкающие медали. А может быть, нет никаких медалей. Может быть, офицеры неотличимы от невольников. Что они делают? Таскают тяжёлые ящики? Вмуровывают их в стены?

В пятницу вечером я пошёл в душ. Обычно я делал это в течение дня, потому что по вечерам у душевой собиралась очередь, но после длительной прогулки сильно замёрз и почувствовал нестерпимое желание согреться. Зонтик размером с подсолнух сеял мелким дождём.

Я возвращался в палату, вытирая влажные волосы, когда меня перехватила дежурная Оксана. Она сказала, что меня спрашивала какая-то девушка, но мой сосед Лёня предположил, что я уехал домой на выходные.

Оксана казалась смущённой.

– Что за девушка? – удивился я.

Оля ещё болела.

– Она сказала Алиса.

– Алиса?!

– Она только что ушла, – лицо Оксаны стало растерянным.

Я заскочил в палату, погасил настольную лампу и прильнул к стеклу. Я никогда не видел Алису в зимней одежде, но сразу узнал её по тонкости фигуры, которая удалялась между старых сосен.

Я вылетел из палаты, сбросив по дороге шлёпанцы, пересёк вестибюль и выскочил на улицу. Влажные стопы прилипли к камню, словно крыльцо было облито сиропом.

– Алиса!

Ворона шумно поднялась с ветки и тяжело полетела в сторону диспансера. За забором мелькали тени. Может быть, она сразу села в машину? Или пошла через дворы к остановке?

Оксана выскочила следом и потащила меня обратно. От моего халата поднимался пар.

– Ты с ума сошёл? После бани на мороз! Мне голову оторвут!

– Блин! – мне было жаль Оксану, но досада оказалась сильнее. – Сложно было, что ли, попросить подождать?!

– Ну, Лёня сказал, ты уехал. Прости, я не подумала. Ты позвони ей.

– Ладно, – ответил я примирительно.

Телефона Алисы я не знал. Звонить было некуда.

По пути в палату я встретил депрессивного Илью Ланькова. Я думал, после той сцены в комнате отдыха он будет меня избегать, но он кинулся ко мне и доложил, что утром его выписывают.

Две недели в клинике не прошли даром: Илья выглядел здоровым. Он был сдержан, чуть надменен и циничен – в общем, готовился к возвращению в привычную жизнь. Он пытался шутить.

Все прошедшие дни Илья предавался самосозерцанию, но не разглядел в себе ничего. Весь его срок в клинике был посвящён лишь тому, чтобы ослепнуть окончательно. Это поз-

волило ему не обращать внимания на такие жизненные мелочи, как измены – собственные и супруги. Лодыжкин сумел его убедить, что счёт в этой партии на стороне Ильи.

Все его мысли занимала теперь лесопилка и проект кирпичного завода.

Губернатор

Веснушчатой Тоне, которую Мец считал своей дочкой, было лет двадцать, но выглядела она мило, как школьница. У Тони были светлые кудрявые волосы вразлёт, словно их раздувало встречным ветром, а на её щеках паслись стада маленьких веснушек. Когда Тоня непроизвольно улыбалась чему-то внутри себя, веснушки приходили в движение, путались, смешивались и бегали друг за другом.

Я не знал, какого цвета Тонины глаза, потому что она никогда их не поднимала. Возможно, они были светло-карими под цвет её веснушек.

Я встретил Тоню на единственном занятии по арт-терапии, которое посетил. Она была насторожена, как и всегда. Если к ней обращалась Наталья Вячеславовна, руководитель арт-кружка, Тоня прекращала рисовать и прислушивалась, как испуганный зверёк.

У Тони было потрясающее чувство цвета. Акварелью она рисовала бесформенные цветные пятна, напоминавшие детский сон, воздушные пейзажи и фантастических животных с необычайно живыми глазами. Она рисовала солнечные блики, которые играют на изнанках закрытых век. Она рисовала морские лагуны с кораллами на дне.

Я уже видел её за работой: иногда она приходила в комнату отдыха, садилась где-нибудь в углу и рисовала. Её картины существовали лишь короткий мир. Тоня не умела останавливаться. Она добавляла и добавляла цвета, злилась, мазала сильнее, а когда по листу текли грязные реки, замыкалась окончательно и сидела неподвижно, глядя на сохнущую акварельную корку. Если кто-то давал ей неосторожный совет или слишком громко сетовал, она убегала или начинала рыдать.

Сегодня мне хотелось остановить её в момент расцвета картины, когда акварель заиграла весенними красками, но я сдержался. Может быть, поэтому (или из-за моей дружбы с Мецем) Тоня была не против, что на занятии по арт-терапии я сел рядом с ней.

Я рисовал Алису. Это был мой бесхитростный способ справиться с досадой, которая мучила меня все выходные. Я рисовал по памяти её фигуру, светлые прямые волосы и тонкие пальцы.

Я не помнил её лица. Оно вспыхивало в памяти, как смех, но едва я брался за карандаш, видение исчезало и получилось абстрактное женское лицо, о котором нельзя сказать ничего определённого. В лице Алисы было что-то особенное, словно к гену человека примешали наследственность другого существа, может быть, кошачий разлёт глаз или упрямство бровей. Что-то инородное было в её узких скулах и внимательном взгляде, но может быть, это ощущение возникало не от форм её лица, но от мимики и жестов, от самого её присутствия, заполняющего всё белизной особого рода. Алиса всегда появлялась из ниоткуда и также в никуда исчезала. Чтобы нарисовать её, нужно было понять природу появления и исчезновения вещей. Карандашные шрамы на бумаге были слишком грубы, чтобы рисовать Алису.

Через парту от меня мужчина средних лет меланхолично скатывал из чёрного пластилина шарики, напоминающие козий помёт. Вот у него получалось похоже.

Парень помоложе месил в пластмассовом корытце коричневую глину, работая усердно и бессмысленно. Наталья Вячеславовна, глядя на его старания поверх овальных очков, одобритительно говорила:

– Чувствуешь, как пальчики разминаются? Работай, работай. Очень хорошо получается. Наверняка она когда-то была школьной учительницей.

Патриот Фёдор не обладал талантами, поэтому складывал из брусков пирамиду, укладывая их дрожащими руками. Процесс наверняка был мучителен, но Фёдор проявлял свойственное ему упорство.

Когда в комнате появился вертлявый Коля, я не удивился. Присутствие Фёдора подразумевало, что рано или поздно это случится.

Коля брезгливо глянул вокруг и уселся у самого окна, ни с кем не здороваясь, словно его загнали в кабинет силой. Потом он схватил палочки и принялся настукивать на ксилофоне Happy Birthday to you, путаясь на пятой ноте. Иногда он глухо кашлял, словно лаял вдалеке сторожевой пёс.

– Да прекратите вы! – не выдержал, наконец, Фёдор. – Ну, не умеете играть, так займитесь чем-нибудь другим! Хотя чем вы займётесь: вы же, либералы, ничего не умеете! Только советы раздавать!

Коля продолжал бить палочкой по металлическим костяшкам с нарастающей силой. Нарастало и раздражение Фёдора.

– Западники во всей красе: ни черта не могут, зато в каждой дырке затычка, – развивал он свою мысль. – Голову бы хоть помыл, чучело...

На Фёдоре была расстёгнутая рубашка. Из-под выреза майки выбивались мощные кудри.

– Путаете свободу со вседозволенностью! – ворчал Фёдор.

– Ага, Сталина на нас нет, – отозвался меланхолично Коля.

– Сталина... – проворчал Фёдор. – Сталин бы с такими не церемонился.

– Да он вообще не церемонился!

– А вы живёте сейчас благодаря тому, что он построил. Вся промышленность была при нём создана!

– Была, была, – усмехнулся Коля лениво. – А сейчас друзьями Путина разворовывается и превращается в дачи на Лазурном берегу и озере Комо. Вы всё за народ вроде бы – даже имечко у вас народное, – а на самом деле олигархов выгораживаете!

– О, олигархи – страшное слово! Напугал! В Америке олигархов больше, а вы всё равно коленопреклонствуете! – загудел Фёдор. – Почему там никто не впадает в истерику? Посмотрите, что происходит во Франции!

– Губернатора вашего любимого в отставку отправили, – перебил его Коля, надеясь застать Фёдора врасплох.

– Знаю, – ответил тот с достоинством и занялся своей пирамидой. – Я знаю это с самого утра. Я уже много раз предупреждал, что так и будет. Но при нём были развязаны многие экономические узлы, душившие область...

– Какие узлы? – в Коле проснулась визгливая болонка. – Проворовался он так, что даже ваш любимый Путин обалдел! Да не проворовался, а не поделился с кем следует! Узлы!

– Откуда вы эту чушь берёте? – Фёдор, довольный тем, что вывел Колю из себя, выстраивал последние ярусы пирамиды.

Они горячо заспорили о бывшем губернаторе, слухи об отставке которого ходили давно. Попытки Натальи Вячеславовны прервать их успеха не имели, и лишь когда пирамида Фёдора с грохотом посыпалась на пол, оба на время отвлеклись.

Тоня смотрела на бурые пятна поверх листа, который ещё десять минут назад был похож на выпуклого голубого слона. Её большие ресницы дрожали.

Больше на занятия арт-терапией я не ходил.

* * *

Весь день обсуждали назначение нового врио губернатора. Я слышал разговоры медсестёр и обрывки фраз на улице, споры в вестибюле и восклицания в столовой.

Танцырев, когда я зашёл в кабинет, пристально смотрел в монитор. Смутившись, он сказал:

– Неожиданно. М-да. Неожиданно. Ну, посмотрим.

Мец, когда мы собрались в курилке, веско заявил, что одного жулика поменяли на другого, а значит, ничего не поменялось.

В коридоре усатый мужчина в очках, похожий скорее на врача, чем на пациента, объяснял очень некрасивому деду:

– Да что вы мне рассказываете?! Он как раз из этих! Я вам говорю, он из самых из этих. И налоги поднимут! Вот увидите. И что, что бизнесмен? Ему деваться некуда. Бюджет-то дырявый.

Разговоры про нового губернатора надоели, как восторги от модного фильма, который все обсуждают неделю, чтобы потом забыть.

Я вернулся в палату и застал Лёню, ссутулившего у стола со стаканом чая. Он смотрел в оконное стекло мимо своего отражения. На столе горел ночник.

Я вскипятил воду, после Лёниного кивка долил ему в стакан и заварил чай себе. Мы напоминали попутчиков в поезде, и я представлял себе чёрный пейзаж, бегущий за окном. В детстве мне нравилось прижиматься лбом к стеклу электрички и видеть сразу и себя, и мелькающие столбы.

Лёня покачивался в такт своим мыслям, а может быть, качался на волнах Рижского залива. Лицо у него было спокойным, лишь вздрагивали иногда веки – был у Лёни такой тик.

Вдруг он заговорил:

– Не дело это, ох, не дело... – он укоризненно покачал головой и принялся отхлёбывать горячий чай, прилаживаясь к стакану сбоку. – До чего область-то довели? Ну, какой это губернатор?

Мне показалось, он заплачет. Я проговорил лениво:

– Лёня, и ты туда же. Сегодня от этого губернатора деваться некуда. Все как с ума посходили. Того пережили и этого переживём.

Несмотря на разницу в возрасте, мы с Лёней давно были на ты.

Он грустно посмотрел на меня:

– Если переживём, – голос его упал. – Про этого Братского ещё в прошлом году писали. Ой, плохие вещи писали! Какой он губернатор? Выскочка! Коррупционер.

– Братского? – переспросил я.

– Так, кажется, фамилия. Или Братовский...

Я нащупал смартфон. На самом верху сайта «Дирижабля» с фотографии смотрел на меня Братерский. Под ним улыбался заголовок новости: «Полпред президента поздравил Сергея Братерского с назначением на пост врио губернатора».

– Ни фиги себя... – пробормотал я.

Лёня расценил это как согласие и принялся развивать мысль:

– Вот взять медицину: ведь ужас, что происходит. Первокласные врачи уходят. А диспансеризация? Сплошное очковитительство. А теперь нам говорят о врачах широкого профиля. А это что значит? Ещё больше специалистов уйдёт. Нужна реформа, а кто её будет проводить? Понимаете, во власть берут непрофессионалов. Берут людей с улицы. Скоро студентов будут брать.

Я слушал Лёню вполуха, пролистывая заголовки новостных сайтов.

«Владимир Путин обозначил приоритеты для врио губернатора Сергея Братерского».

«Сергей Братерский заявил о кадровых перестановках в правительстве региона».

«Цель – доверие граждан: Сергей Братерский о планах на ближайшие месяцы».

«Сергей Братерский: неизвестные факты из биографии».

Новость о его назначении соцсетевая общественность восприняла со сдержанным оптимизмом. Неля опубликовала селфи с Братерским, сделанным после дневной пресс-конференции. Оба улыбались: Братерский едва заметно, Неля – так широко, что её острый нос напоминал синичий клюв. «Впереди много интересного», – подписала она снимок.

В Неле боролись два чувства, и эта борьба отражалась на её лице. Полгода назад она считала Братерского жуликом, теперь была заинтригована. В статье для «Дирижабля» Неля

припомнила Братерскому инцидент с дольщиками, но между строк читалось ликование. Нелю возбуждала перспектива иметь в качестве мишени не лысого и стареющего ставленника олигархов, а человека, которого пару лет назад с подачи Христова только ленивый не называл червячком. «От карикатуры до губернатора», – был один из подзаголовков статьи. Обожание шло вперемешку с битым стеклом Нелиного сарказма.

Многие поддались на внешнее обаяние Братерского. Многим импонировала его решительность и открытость. Все соглашались, что области нужна свежая кровь.

Были и критики, которые удивлялись, как человек без политического опыта стал сразу же губернатором. Им отвечали, что именно в этом смысл – взять человека без предыстории. Критики же настаивали, что Братерский – тот ещё конъюнктурщик.

Его называли технократом, хвалили за смелость, упрекали за дольщиков, спорили о наличии судимостей, отмечали деловую хватку, называли рупором олигархов, подчёркивали отсутствие ярких достижений, отмечали хорошую речь, пеняли на длительную эмиграцию.

Блогер Феликс Крушельницкий высказался о Братерском критически, назвав его биографию непрозрачной, а опыт управленческой деятельности близким к нулю. Крушельницкий писал:

«Братерский никогда не работал в госструктурах и чаще критиковал других, чем создавал что-то сам. Его страховая компания „Ариадна“ работала за счёт контрактов с крупным бизнесом, основанном на личных знакомствах. В прошлом году Братерский избежал судимости за махинации с деньгами дольщиков, но по существу вопрос остался нерешённым. Братерский входит в сферу интересов Виктора Шефера и является его клиентелой, поэтому назначение можно расценивать как попытку федерального центра ослабить позиции Игоря Каманских. Братерский станет калифом на час, цель которого – разрушить сложившуюся однополюсную конъюнктуру. Приоритетной задачей на ближайший месяц станет подготовка к выборам президента и демонстрация социальной ориентированности власти. Ждём тектонических сдвигов сразу после выборов 18 марта».

Крушельницкий писал, что назначению Братерского также помогло его одобрительное отношение к проекту «Гербелы», который поддержали федеральные власти.

Самым популярным комментарием под его постом был следующий: «Блогер такой блогер – лишь бы дерьмом всё измазать». Людям хотелось верить в лучшее, и Братерский умел себя подать, словно он этим лучшим и является.

Лампа светила под нос, ослепляя меня отражением в стекле. Я щёлкнул выключателем, и палата погрузилась в полумрак, разбавленный мёртвым светом смартфона. Лёня загрузил и улёгся на койку. Он жевал тихие слова и продолжал свой спор.

Я пролистывал статьи по кругу. Удивлён ли я назначением Братерского? Да. И в то же время я ожидал чего-то подобного. Теперь у меня есть сотовый телефон губернатора, хотя телефон этот может не отвечать. Номер записан у меня как «Сергей Брат», так что посторонний решит, что у меня просто есть брат Сергей.

Братерский хорошо выглядел. Его чёрные волосы снова вились. Лицо его было загорелым, костюм сидел идеально, жесты были отточены, словно он готовился к роли много лет. Многие попали под его обаяние, и даже критики звучали слегка подобострастно.

Никто из экспертов и блогеров не упомянул о серверном парке Братерского, где целая сеть компьютеров круглосуточно собирала и анализировала мнения людей, классифицировала, превращала в диаграммы и манипулировала их мнением. Вероятно, у Братерского был один из лучших имиджмейкеров в истории и совсем не человек. Если целью была высокая должность – Братерский её достиг. Но вряд ли остановится. Чего он хочет теперь? Стать президентом?

Вопрос с проектом «Гербелы» решён. Идею поддержал даже федеральный центр, значит, что бы мы ни делали, они будут бурить.

И пусть бурят, думал я, соскальзывая по стенке в дремоту. Проблемы Фирино случились лишь потому, что никому не было дело до какого-то там посёлка на периферии области. Может быть теперь, когда рядом с Фирино сойдутся интересы федеральных и местных властей, проблема, наконец, решится.

* * *

На следующий день я спросил Танцырева, почему тот не сказал мне о назначении Братерского губернатором, хотя прекрасно знал о нашем знакомстве. Танцырев ответил:

– Мы беседуем здесь о том, что волнует вас. Расскажите, что думаете об этом.

Я лёг и с минуту молчал, проверяя настроение мёртвой мухи в плафоне. Муха была готова слушать.

Назначение Братерского тревожило меня. Может быть, я просто ревновал к его успеху, который увеличил социальную пропасть между нами.

Братерский казался равнодушным к регалиям и деньгам, несколько странным, но честным и независимым. Теперь он выглядел умиротворённым, словно достиг желаемого. Он докладывал президенту. Он получал почести. Он наслаждался.

Может быть, весь псевдонаучный флёр, который он создал вокруг себя, требовался для тактических целей? Мой интерес к «Заре» мог быть его манипуляцией. Братерский как-то предсказывал, что я закончу в сумасшедшем доме – так оно и вышло.

И Фирино... Теперь у него есть какой-то интерес в этой гербеловской стройке. Похоже, мы стали врагами.

– Какая-то параноидальная теория, да? – спросил я муху. – Что скажите?

Муха ответила голосом Танцырева:

– Если мы склонны к паранойе, это ещё не значит, что за нами не следят. Бывает, верно и то, и другое. Расскажите, откуда вы знаете Сергея Братерского.

Я вспомнил события осени 2015 года, когда Братерский предложил эксперимент со словом «блабериды». Танцырев удивился:

– Не знал, что вы имеете отношение к его появлению. Расскажите, что вы думаете о блаберидах. Всё, что приходит в голову.

Блабериды... Это просто ругательство вроде «быдла». Каждый считает блаберидом кого-то, кроме себя. На самом деле, ничего концептуального. Просто ругательство.

– Но не синоним быдла? – уточнил Танцырев. – В чём отличие?

Отличие? Быдло антисоциально, а блабериды – это квинтэссенция социальности в её современном виде. Это люди, стремящиеся к себе подобным настолько, что взаимное отторжение неизбежно. Блабериды существуют на границе сил притяжения и отталкивания, образуя текучую податливую массу. Они находятся в перманентном броуновском движении и чувствительны к внешним полям.

– Я помню, что вы физик по образованию, – голос Танцырева слегка улыбнулся. – То, что вы описали – разве это не модель обычного общества?

Может быть. Блабериды в каком-то смысле всеядны: они реагируют на всё, что происходит, принимают чужие мнения за свои, насыщают себя фактами, не оставляя пустот. И в этом шуме полностью теряют возможность слышать.

– Слышать что?

Не знаю. Наверное, слышать то, что слышно в пустоте. Я не уверен. У блаберидов, в сущности, нет вопросов: на все вопросы они находят быстрые ответы из набора, который им предлагают. Они никогда не спрашивают, кто предлагает этот набор. Их вполне устраивает, что в нём есть чёрное и белое. Вы либо патриот, либо либерал, либо логик, либо мистик, либо физик, либо лирик. У них всегда два знаменателя, которые никогда не приводятся к одному. Всегда есть правила игры, которым они хотят себя подчинить.

Блабериды никогда не бурят вглубь.

– Потому что бояться?

Может быть, бояться. Или им просто неинтересно. Зачем рисковать, когда на поверхности всё благополучно?

В сущности, они просто тараканы в банке.

– Может быть, банка защищает их?

Может быть. Даже вернее всего. Это вообще очень удобно – держать тараканов в банке. Держать в ней самого себя. Думать, что мир за стеклом состоит только из бликов и отсветов. Иногда мне кажется, что другой мир существует, но у меня нет доказательств. Он слишком неочевиден. Это сложно описать в словах. Нужно синхронно чувствовать, чтобы понять.

– А вы считаете себя блаберидом?

Конечно. Я просто скольжу вдоль стекла и вижу своё отражение.

– Вы сказали – отражение. Ваше отражение существует по эту или по ту сторону стекла?

У меня странное отражение. Иногда оно может оживать. Может быть, это мой воображаемый брат. Это какая-то игра ума. Если оно и существует по ту сторону стекла, мы не общаемся. Наверное, стекло непроницаемо.

– А существуют не-блабериды?

Всегда существует что-то противоположное. Я думаю, не-блаберид есть в каждом человеке, но мы предпочитаем о нём забывать. Нет блаберидов по рождению. Блаберидами становятся для простоты. Если в доме есть лифт, мы не ходим на 18 этаж пешком.

– Что говорит о блаберидах Братерский?

У него много теорий. Он считает их заготовкой для тоталитарного общества. Чем-то вроде термитов: социальных существ, не способных к самостоятельной эволюции.

Когда-нибудь интернет станет нашей реальностью. И люди окончательно потеряют способность отличать правду от вымысла. Им этого будет ненужно. Каждый человек – это, в сущности, маленький социальный транзистор. И чтобы транзисторы были взаимозаменяемы, они должны быть максимально просты.

Думаю, сам Братерский видит себя на вершине этих пирамид. Он любит рассуждать о концепции сверхчеловека.

– Вернёмся к вашему отражению. Вы сказали, оно может оживать. Подумайте о нём. Подумайте о своём брате. Что приходит на ум?

Ровным счётом ничего.

– Вы о чём-то подумали.

Я не знал, о чём я думал. Всё как в тумане.

Я вдруг почувствовал Танцырева где-то у своего плеча. Он протянул мне пачку старых фотографий, чёрно-белых и цветных. Краски на них желтели, зелёный походил на коричневый, а синий – на серый. Это были фотографии каких-то улиц, сделанные в 80-е или 90-е годы, когда города казались пустоватыми, чистыми и прозрачными. Люди на них наивно улыбались и спешили куда-то, не понимая, что их ждёт путч и дефолт. На фотографиях были старые советские машины, которых уже давно не увидишь, и троллейбусы, в точности как сейчас. Озабоченность людей на снимках казалась ненастоящей: лето вокруг них было слишком замечательным, чтобы о чём-то переживать.

– О чём вы думаете? – услышал я голос Танцырева.

Когда мне было пять лет, я сидел на кухне с отцом. Он что-то чинил. По-моему, радиоприёмник. А мне стало скучно. Я взял нож, потому что хотел порезать яблоко. Отец велел положить нож, но я обещал быть очень осторожным. У меня не вышло. Вместо яблока я рассёк себе палец, но отец не заметил. Я ушёл и долго сидел в своей комнате, а кровь всё шла.

– Вас напугал вид крови?

Нет. Мне было стыдно. Не хотелось выглядеть дураком.

– Почему вам было стыдно? В конце концов, вы порезали сами себя. Подумайте о стыде. Вам пять лет и вам стыдно. Что вы вспоминаете?

У моей бабушки по отцовской линии был дом под Санкт-Петербургом. Когда я был совсем маленьким, мы часто бывали там.

– Кровь. Что-то связанное с кровью?

Отец один раз сильно распорол руку, когда пилил циркулярной пилой деревяшки в саду. Там стоял специальный стол, на котором дед распиливал доски. Дед говорил отцу не работать голыми руками, но отец не послушал. И у него остался шрам на ладони.

– Почему вы испытывали стыд?

В то лето был случай с болонкой Жулькой. Маленькой белой болонкой, похожей на игрушку. Она жила у бабушки в том доме под Петербургом. С ней случилось нехорошее...

– Она умерла?

Она погибла. Все считали, что по моей вине. Во дворе жил сторожевой пёс по кличке Дракон, поэтому Жульку не выпускали из дома. Может быть, он принимал её за кота. У него были огромные челюсти – такие экскаваторные ковши. Жулька и сама до смерти его боялась. А я как-то вынес её во двор, Дракон прыгнул, и я от неожиданности выронил её. Я даже не заметил, как всё случилось. Жулька не издала ни звука. Мне показалось, что ничего не произошло. Она сразу умерла.

– Вас отругали за это?

Наверное, нет. Нет. Только двоюродная сестра говорила, что я трус, потому что отпустил Жульку так легко. Я действительно растерялся. Но взрослые не ругали. Они ничего не сказали. Но все считали меня виноватым. Все знали, что Жульку нельзя выносить во двор. Я знал. Нужно было крепче её держать. Я виноват.

– Вам было пять лет и вы были ростом с того Дракона, так? Вы ошиблись, но вряд ли сделали это намеренно. Вы до сих пор чувствуете вину? Кто-то из взрослых говорил с вами об этом? Кто обвинял вас в смерти Жульки?

Я не помню. О Жульке просто перестали говорить. Все молчали, потому что всё и так было понятно. Мы похоронили её в огороде, и всё стало как прежде. Я больше не думал об этом.

– Зачем вы её вынесли? Что спровоцировало вас?

Я не помню. По-моему, я хотел отнести её в сад. Я просто так это сделал. В детстве так бывает.

– Вы сказали «кит предложил». Что вы имели в виду?

Какой кит? Я такого не говорил.

– Вы только что сказали: кит предложил.

Не знаю. Может быть, оговорился. При чём здесь кит? Разве я такое сказал?

– Да, только что.

Кит, кит... Понятия не имею. Кит предложил? Я что-то другое имел в виду. Не помню.

– Хорошо, запишем в загадки.

От этих сеансов оставалось чувство, будто хирург вскрыл тебе брюшину, но не стал зашивать.

* * *

– Покойники всегда кажутся тяжеленными, – ворчал Мец, цепляя на лопату громадный ком снега. Почему-то снег напоминал ему о покойниках.

Мец был фантастически силён. Я не пытался угнаться за ним: если работать в его темпе, к утру разболится спина.

От работы жарило. Жар походил на лихорадку.

– А я как-то резал здорового такого вепря, – рассказывал Мец, швыряя снег с остервенелостью кочегара. – Так местные к нему подходить боялись. А резать надо по науке. Молитву

сначала прочитать. Я его цепью к трактору привязал, так эта зверюга раскачала и перевернула его нахер, – хрипло смеялся он. – Три часа танцевали...

Комья снега летели как из катапульты. Мы расчищали проезд к танцыревской парковке. Антон благословил нас на трудовой подвиг.

Тёмный внедорожник подкрался сзади и засигналил так внезапно, что небо на секунду стало будто ближе к земле. Я шагнул в сугроб и провалился почти по колено. Машина медленно напирала сбоку. Мец повернулся и смотрел безразлично, вытирая ладонью потную шею. Он был в кроссовках и лезть в глубокий снег не хотел.

Внедорожник слепил фарами. Синие лезвия кололи глаза.

– Ну, чего замер-то? – крикнул Мец и махнул рукой, чтобы внедорожник взял левее.

Автомобиль дёрнулся, наехал колесом на сломанные снежные пласты, сминая их с громким хрустом, и снова замер. Приоткрылось окно. Высунулось круглое мужское лицо.

– Ты, с лопатой, – обратилось лицо к Мецу. – Ты в сторону отойди.

– Езжай, – сухо ответил Мец. – Проходишь. Давай смелее.

От его шеи поднимался пар.

– Ты в сторону отойди, – повторил голос, возвышаясь. – Лопату убери.

– Давай уже, – Мец не двинулся, достал из трико пачку своих папирос и закурил. Дым вокруг него поднялся такой, словно выстрелила пушка.

– Слышь, псих?! – голос стал ядовитым. – Тебе в бубен дать? Взял лопату, отпрыгнул в сторону. Я сейчас выйду!

– Ну, выйди, – Мец продолжал стоять.

Внедорожник поехал, сталкивая Меца в сугроб, почти ломая ему колено. Голос снова заорал:

– Лопату убрал, дебил! Ты слов русских не понимаешь? Шиза грёбаная!

Автомобиль плюнул в нас снегом и уехал на парковку. Вентиляторы шумели так, словно он готовился ко взлёту.

Я знал водителя. Это был папаша веснушчатой Тони. У него было полное лицо, мелкий вздёрнутый нос и огромная талия. Он смахивал на толстого ребёнка и в свои лет пятьдесят был энергичен, как пятнадцатилетний.

Я видел их с Тоней несколько раз в вестибюле. Тоня молчала и сидела всегда на самом краю скамейки, словно ожидая команды уйти. Папаша был ласков и причуд дочери словно не замечал.

Он выбрался из-за руля, поднялся вразвалку на заднее крыльцо и крикнул Мецу:

– Э, старик! Ты гавкай поменьше, понял? А то намордник надену. Я сейчас главному вашему объясню про тебя. Ты имей в виду.

Мец стоял как замороженный. Я не заметил, как он исчез. Я отлучился в подсобку за ломом, а когда вернулся, Меца уже не было.

Когда я бежал к главному входу, горизонт раскачивался и всё вокруг плыло. Дежурная медсестра Меца не видела. Ножа под зелёной трубой курилке не было. Мец нашёл свою идеальную жертву.

Куда пошёл Тонин папаша? Он говорил про главного. Я взлетел на третий этаж и замер у двери Сителя.

Через дверь доносились голоса. Речь Тониного папаши была монотонной и глухой, словно он читал Сителю проповедь. Тот лишь громко соглашался. Значит, Мец ещё не успел его достать.

Папаша вышел минут через двадцать, и гримаса отвращения застыла на его лице, словно я просил денег.

– Чего тебе? – спросил он брезгливо.

– Вы его зря разозлили, – сказал я. – Вы его совсем не знаете.

– Мне таких знать не надо, – он сплюнул одними губами и зашагал по коридору.

Жировые складки на боках делали его похожим на гружёного осла. Я двинулся следом.

К дочери он не пошёл: спустился вниз и через чёрный выход сразу направился к машине. Мец стоял возле неё и смотрел молча. Лицо его было почти безмятежным, словно он хотел извиниться, но правая рука, отведённая назад, зажимала острое жало. Я не видел этого, но знал, что оно лежит вдоль запястья, и эта близость возбуждает мецевы вены.

Я хорошо представлял, как Мец всадит нож в живот обидчику, точно рассчитав место и силу. Мец видел его артерии, печень и селезёнку, видел его холестеринное сердце. Мец пьянел от такого ассортимента.

– Придурок, чего тебе неймётся? – крикнул мужик.

Я был соучастником. Я не останавливал Меца. Меня охватил странный паралич. То, что произойдёт – уже произошло. Это происходило много раз и случится снова. Это то, что сильнее нас.

Мужчина решительно двинулся по ступенькам, задержался на секунду, смерив Меца взглядом, но смолчал, сел в машину и резко сдал назад, оставив на снежном отвале опечаток бампера. Мец не шевельнулся. Он стоял неподвижно, как восковая фигура, словно впал в катаlepsию.

– Вылечись, придурок! – крикнули в окно машины.

Мец резко пошёл прочь. Больше я его в тот вечер не видел.

* * *

14 февраля я позвонил Оле поздравить с Днём святого Валентина. Оно выздоровела, но говорила в нос голосом диснеевской утки.

Она собиралась заехать 15-го, но снова не получалось. В первый рабочий день Олю рвали на части, а 16-го у её папы был юбилей, и они с мамой готовились три дня подряд.

– В пятницу он будет отмечать на работе, а в субботу у себя дома, – сказала Оля. – И я хочу, чтобы ты пришёл. Папа тебя приглашает.

– Серьёзно? Я с удовольствием. Надо только больничных предупредить.

– Я уже спросила. Ситель не против. Не забудь отметить у дежурной.

Оля обещала забрать меня в пятницу вечером. Она радовалась не меньше меня. Оля не любила ночевать одна: ночью дом гудел, шлёпал и шуршал, словно тролли и домовые проводили ему предпродажную подготовку.

После обеда я хотел позвать Меца на перекур и обсудить стычку с Тониным папашей, но Меца в палате не было, а Паша на мои вопросительные жесты не реагировал. Губы его кровоточили.

Дежурная Аня, глянув в журнал, сообщила, что Меца не будет как минимум до выходных.

– Он дома?

Аня замялась.

– Он переведён в другое отделение. По состоянию здоровья.

Я хотел спросить ещё что-то, но Аня сделала плачевное лицо.

Галя считала, что его забрали в психиатрическую лечебницу. Я почему-то думал по-другому. Хотя внутри Меца и жил этот необузданный мясник, он столько раз сдерживал его порывы, что был нормальнее нас всех. Его порочность, граничащая с психопатией, каждый день сталкивалась с непроницаемой стеной Мецева самообладания. Ему не место в психушке.

Вечером я подошёл к дежурным ещё раз, но новостей о Меце не было.

Я вернулся в палату и обнаружил Лёню, деловито складывающим свои вещи в одинаковые стопки. Утром его собирались выписать.

– Получается, я вернусь с выходных, а тут будет кто-то другой? – с неким сожалением спросил я.

Лёня сел на койку в растерянности, словно осознав масштаб неудобств, которые причиняет.

– Лёня, я же шучу, – ответил я. – Очень рад за тебя.

Он грустно смотрел в окно, представляя за ним свой Рижский залив. За время нашего знакомства он мало изменился, но, вероятно, врачи обнаружили в его состоянии положительную динамику. Или у его жены просто кончились деньги.

* * *

Ночь на пятницу я не спал. Тревога была как перед высадкой на Луну. Я провёл в клинике шесть недель, показавшихся шестью месяцами, и всерьёз сомневался, могу ли дышать вольным воздухом.

Оля приехала на моей машине и уступила мне руль – трогательный жест доверия.

Пробка, в которую мы попали на выезде из города, показалась мне чудесной новогодней гирляндой. Красные огни, изгибаясь, ныряли в низину около реки и поднимались по ту сторону, словно росчерк самурайского меча. От машин поднимался пар, унося вверх кровавые следы стоп-сигналов и звёзды уличных фонарей. Слякоть на окнах защищала нас, как балдахин.

Оля за время болезни накопила сил и говорила без умолку. Почему-то её волновала теория о первом человеке. Оля была убеждённой дарвинисткой и спорила заочно с каким-то самопровозглашённым торгонским проповедником (тот, вероятно, просто троллил публику), но в её аргументацию прокрадывались лёгкие сомнения.

– Они говорят, будто у нас сознание от пра-людей, а тогда откуда оно у самих Тортонов? – спрашивала она. – Хотя и у людей оно откуда?

Я молча улыбался, а такие аргументы заводили Олю сильнее открытого спора.

– Ну, чего ты лыбишься? Да не спятила я! Просто рассуждаю. Я тебе ещё одну чудесную новость расскажу: твой Гриша Мостовой стал главой пресс-службы у Шефера.

Оля смотрела на меня торжествующе. Я фыркнул:

– Ну и что? Удачи ему и всяческих благ. Почему-то я совсем не удивлён.

Она расхохоталась без причины, и я рассмеялся вслед. Мы ржали, словно надышались веселящего газа. Кругом была пробка, с неба падали снежные перья, стекло потело, радио хрипело, сложности были позади, а нас ждали пусть небольшие, но каникулы.

Я смотрел в боковое окно. Раньше я всегда смотрел только вперёд или в зеркала, но вдруг обнаружил прелесть боковых стёкол, за которыми жизнь текла во всех мелких подробностях. В соседних машинах жестикулировали, ссорились, молчали, сморкались в бумажные салфетки, смотрели одним глазом в смартфон, задумчиво изучали магнитолу...

Услышав в прихожей мой голос, Васька громко забарабанил пятками и выскользнул из-за угла, буксуя. Он запрыгнул на меня с разбегу и повис, как бабуин. Домработница попрощалась с Олей и ушла.

Весь вечер мы провозились с огромным радиоуправляемым грузовиком, подаренным тестем на Новый год. Васька грузил в него кубики и, пробираясь между диванных подушек, ворчал голосом деда:

– Понаставят своих корыт, не проедешь!

В полночь, уложив Ваську, мы долго болтали на кухне. Рикошет лежал у моих ног. Вантуз, сверив мою личность, успокоился и куда-то исчез.

Скоро нас охватила странная нервозность, и мы кинулись друг на друга, словно на первом свидании.

Потом Оля долго шумела водой в ванной, а я лежал на полу спальни и думал о том, что не хочу проводить в палате с новым соседом даже дня.

Оля склонилась надо мной и щекотала лицо кончиками мокрых волос. Я снова потащил её в постель, она стала упираться и заявила, что ещё девушка и на первом свидании такого не позволяет. Я пообещал ей быть терпеливым, как доктор, но обещания не сдержал.

* * *

К тестю мы приехали почти вовремя, но вовремя в таких случаях означает слишком рано. На площадке перед домом стояла лишь пара машин. Парень наших лет ждал у крыльца.

Он курил и нервно шлёпал пальцем по экрану смартфона. Снег лип на его аккуратную причёску, и Олю это развеселило. Они были знакомы.

Лицо парня было типовым, как проект многоэтажного дома. Я протянул руку, он вяло её пожал.

– Кто это? – спросил я, когда мы зашли в прихожую.

– Это Егор. Он у папы за финансы отвечает.

– Лет пять назад трудно было представить такого человека рядом с твоим папой.

– Он хороший, ответственный, – ответила Оля, стряхивая снег с воротника. – Его мама позвала. Вечно ей неймётся. Папа вообще хотел узким кругом посидеть.

Гости прибывали. Дядя Олег тискал Олю, поднимал её и ворчал, как сильно она растолстела. Оля хохотала и обещала исправиться. Чудин, давний друг тестя, держался в стороне. Его свирепое лицо и неожиданный кремовый костюм придавали ему сходство с телохранителем.

Олина сестра Катька суетилась, помогая матери, но внимание всё равно доставалось Оле. В ярко-синем платье она была великолепна, как актриса, которую видишь лишь по ту сторону экрана. Катька и я ревновали, но ревновали по-разному.

Тесть появился внезапно, и гости ответили дружными аплодисментами. В чёрном костюме-тройке он был наряден, как рояль. В руках он вертел подаренную накануне трость с серебряным набалдашником. Он здоровался со всеми по очереди, приглашая за стол. Обстановка быстро разрядилась.

Оля сидела справа от меня. Compliments отражались на её щеках румянцем, и завтра она скажет что-то вроде: «Я вчера такой дурой была: вела себя как школьница», но всё равно будет довольна. В отцовском доме она оставалась принцессой.

Егор сидел наискосок от нас и чувствовал себя лишним. Он больше молчал, смеялся с запозданием и без веселья, нервно поглядывал на смартфон и вид имел строгий и почти злой. Иногда он откладывал телефон со вздохом, словно тот принёс плохие новости, потом брался снова, наглаживал его пальцем и хмурился.

Оля вернулась после танца с дядей Олегом, расправляя сбившееся платье.

– Ты чего грустишь? – заметила она отсутствующий вид Егора. – Кстати, если курить захочешь, все на лоджию ходят. Там теплее.

– Я бросать буду, – ответил тот с нотками торжественности, словно все ждали этого заявления. – Дыхалки уже не хватает.

Он постучал себя кулаком в грудь. Оля рассмеялась:

– Конечно, не хватает. К третьему сету зелёный бегаешь. Я тебе сразу сказала, надо бросать. Вообще не понимаю: зачем заниматься спортом, если потом всё в табак уходит?

– Нервы просто, – ответил тот.

В голове у меня начал складываться пазл. Значит, вместо великолепного Саввы Оля играет в теннис с этим дрищём, чьи кроссовки запечатлела в своём «Инстаграме».

Почему-то я не почувствовал облегчения. По рассказам Оли я представлял Егора добродушным мужиком лет пятидесяти, который относится к дочке босса, как к своей собственной.

Я посмотрел на Егора пристально. На его бледном лице виднелись следы подростковых оспин. Он был худым. Моя мама называла таких людей «узкой костью». Смущение он маскировал резкостью.

– Как твоё здоровье? – спросил он Олю тоном, словно она была его подчинённой.

Она села рядом со мной и махнула рукой:

– Дышать тяжело. Слышишь, говорю, как Слонёнок из «38 попугаев»? – сказала она в нос и расхохоталась. Слово звучало у неё как «сьуонёнок».

Егор заулыбался:

– Надо восстанавливать форму. Можем через стенку потренироваться. Ты в среду придёшь?

– Посмотрим.

Снова сели за стол, начались тосты и смех, тесть спел в караоке песню Шуфутинского, а Чудин сказал речь, состоящую из коротких, угольных фраз, таких проникновенных, что тесть прослезился.

Мы с Олей подарили тестю ружьё для подводной охоты, которое выбирали ещё летом, в те месяцы, когда я остывал после поездки со Скрипкой на «Зарю».

Я тоже сказал короткий тост. Гости неожиданно захлопали, и тестю пришлось встать и откланяться. Он жал мне руку, представлял гостям и вспоминал забавный случай двухлетней давности, когда мы с ним поехали на рыбалку и застряли на его «Ленд Крузере».

– Пошли в баню, проверим, – шутил кто-то из гостей, требуя передать ему ружьё. – У тебя бассейн есть?

– Не смей! Пьяные уже! – волновалась тёща. – Юра, положи, утром посмотришь.

Егор, опьянев, нашёл себе собеседника через два места от него:

– Подводная охота – ерунда, – он лениво махал рукой. – В нашем климате – побаловаться раз-два за лето. И пневматика – это так, для дилетантов. Лупит мощно, а толку мало. Надо арбалет брать: проще и точнее.

«Знаток, блин», – с досадой подумал я.

После паузы все снова сели за стол. Егор начал произносить длинную речь, которую никак не мог закончить, словно самолёт пытался сесть при сильном боковом ветре. Тесть обнял его за плечи и сказал что-то на ухо: Егор разулыбался и вручил ему коробку с подарком – может быть, с часами.

В зале началось брожение. Курящие ушли на лоджию. Дамские украшения рассыпали в темноте яркие блики. Пятна цветомузыки вращались на потолке, словно в миксер бросили дольки разноцветных фруктов. Разбитый бокал вызвал приступ смеха.

Я сел на диван, утонул в нём и ощутил невесомость, неприятное колыхание, словно комната раскачивалась на резиновых стропах.

Оля была нарасхват. Иногда она оказывалась где-то близко, я ощущал запах её духов и мог привлечь её внимание, но не делал этого. Мне не хотелось ломать ритм её вечера. Оля была королевой бала. Тесть гордился ей отчаянно.

– Что делать... Случилось вот такое несчастье, – донёсся до меня голос тёщи.

Я повернул голову. Она сидела на месте тестя во главе стола и беседовала с незнакомым мне человеком, которого я видел со спины.

– Я уж Юре говорила: давай, князь, решай что-то, а он... ты же знаешь... Не суетись, мать, разберутся сами. Вот, разбираются, – продолжала она.

– Ну, а за границу не пробовали? – спросил человек. – У нас в прошлом году бабушка начала заговариваться. Месяц в Германии, и помогло, ты понимаешь. Девяносто два года, обслуживает себя, ходит. В Мюнхене клиника. Если надо, я узнаю точный адрес. Этим дочь занималась.

– Не знаю, Саша, я уже что только не предлагала, – голос тёщи звучал отчётливо. – Они же упрямые оба: что Юрка, что Оля. Им же слова не скажи.

– А врачи как считают?

– А что они считают? Деньги берут и всё. Прогнозов никаких. Подержат его месяц-два, потом выпишут. Через полгода рецидив. А потом ему с этим волчьим билетом работу искать. Сейчас здоровые-то работу не могут найти.

– На учёте состоит, да? – сочувственно спросила спина.

– А как не на учёте? Уже месяц лежит.

Они говорили обо мне. Может быть, она хотела, чтобы я это слышал?

Нет у меня волчьего билета. И на учёте я пока не состою. Только здесь это никого не интересует.

Музыка сменилась на медленную, погас свет. Бабочки бликов медленно елозили по стенам. В зале кружилось несколько пар. Их контуры напоминали каменные столбы, которые мы с Олей как-то видели в Аризоне.

Среди танцующих были Оля с Егором. Он держал руки на её талии и двигался скованно, словно суставы потеряли подвижность. Я знал, что ей мешает его неуклюжесть, что она подстраивается под его мелкий шаг и не испытывает удовольствия от такого танца. Но она его и не прекращала. Лицо её смеялось. Дело ведь было не в танце. Танец был лишь поводом оказаться наедине.

Оранжевый блик пробежал по Олиной спине, и я ощутил на пальцах шёлк её платья.

Ревность – слишком очевидное чувство, чтобы отдаваться ему с головой. Я подумал о терапевте Лодыжкине. Он бы внедрил мне какую-нибудь остужающую мысль о том, что ситуация слишком стереотипа, чтобы воспринимать её всерьёз. Я ведь не ревную Олю к её врачу или её начальнику, спрашивали усы Лодыжкина. Не ревную. И этот Егор значит для неё не больше, чем почтальон. Просто у неё сегодня отличное настроение.

Они почти остановились, переминаясь на месте, как два нерешительных дошколёнка. Какой-то разговор захватил их целиком.

Навязчивые мысли, говорил Мец, ничем не отличаются от обычных, кроме того, что возникают из ниоткуда. У навязчивых мыслей нет предыстории. Они не скрещиваются с нашим внутренним миром. Они вспыхивают в голове, освещая тени внутри нас. Прорастают корнями. Чем больше рвёшь их из себя, тем больше рвёшь свою плоть. Навязчивые мысли – это одомашненные волки: их нужно либо кормить, либо стать жертвой.

Взять нож и вспороть негодяю брюхо. Или хотя бы порезать. Но это не моя мысль. Это мысль Меца.

Чушь собачья. Ты же не думаешь об этом всерьёз? У тебя даже нет доказательств.

У меня есть доказательства. Я слишком отчётливо вижу их вместе. Я не знаю, в каком времени происходит это действие: в прошлом, будущем или прямо сейчас, – но я вижу Олю, привыкшую к скованности своего партнёра. Олю, которая сумела укротить свои подвижные бёдра, чтобы подстроиться под его ритм.

Это просто дурацкая фантазия. Мец говорит, что навязчивые мысли исчезают так же внезапно, как появляются. Нужно просто пережить этот ужасный танец.

Я резко встал и ушёл на лоджию, где висел табачный дым. Ледяной воздух из окна драл его в клочья.

– Дверь плотнее закрой, – кивнул мне тесть.

Здесь говори о рыбалке и аукционной цене спорного участка. Здесь всё было привычно. Моё бредовое видение утратило остроту.

– ... помнишь, карпа поймали? – тесть обращался ко мне.

– Да-да, – закивал я, соглашаясь с размером, который тесть отмерил на подоконнике.

Не карп, а целый сом.

– Как ты? Не устал?

– Есть немного. Мы, наверное, домой поедem.

Все загудели, словно я сказал что-то невообразимое. Может быть, им было жаль упустить Олю.

– Чаю выпьем и поедем, ага? – тесть хлопнул меня по плечу.

Мы вернулись в зал. Оля разговаривала с родственником из Норильска и казалась такой же беззаботной, как пять минут назад с Егором. Мне полегчало.

Пятьдесят пять свечей на торте тесть задул с первого раза. Официант ловко работал широким ножом с таким мощным лезвием, что я залюбовался. Нож разрезал мякоть торта безо всяких усилий, проваливаясь в белую плоть, как в сметану. Что бы Мец сказал насчёт такого ножа? Он бы одобрил. Впрочем, многое зависит от стали. Этот нож выкован где-нибудь в Баварии, и наверняка у него первоклассная сталь.

Звенели ложки. Веселье достигло пика, словно в ночь летнего солнцестояния люди ощутили полную свободу перед тем, как начать затяжной спуск через июльские ночи к августу, к похмелью лета. Опять говорили тосты. Кто-то расспрашивал меня про обстановку в «Дирижабле» и просил телефон Бориса Лушина.

Егор, перегнувшись через спинку стула, объяснял аккуратному юристу:

– Независимой журналистики не бывает. Это сказки всё. Кто больше даст, про того и пишут. Или не пишут наоборот. Там всё так делается. Эти акции – для показухи, а на деле всё решают деньги.

Он говорил справедливые вещи, но с такой безапелляционностью, словно ничем иным, кроме заработка денег, журналист не руководствуется в принципе.

Заговорили о Братерском и его губернаторских шансах, и все согласились, что он является тёмной лошадкой. Тесть лениво отмахивался: он считал Братерского выскочкой, которого сметут за полгода.

Егор опять наклонился к Оле через стол так, что скатерть пошла складками. Они продолжали разговор, начатый ещё во время танца.

– ... потому что он рассчитывал победить, и, если бы не скандал, он бы победил, – убеждал Егор. – На тот момент он объективно был первой ракеткой.

Оля склонялась к нему, натягивая скатерть в другую сторону:

– Но если его дисквалифицировали за допинг, значит, по-честному он бы не победил.

– Я же не спорю, что это было ошибкой. Может быть, они перестраховались. Но объективно, на тот момент он был лучшими и без допинга.

Оля смеялась. Голос её лился через край. Я тронул её за локоть:

– Поехали?

– Устал? – она повернулась ко мне. Краем глаза я заметил, как поспешно Егор встал и отошёл в глубь зала, словно пойманный с поличным.

– Да. Тебе хочется остаться?

Секундная пауза ответила за Олю – ей хотелось остаться. Терапевт Лодыжкин сказал мне, что она хочет этого не ради Егора, а потому что это очень хороший вечер, и отец гордится ей, и всё это так напоминает детство. Но она тряхнула головой:

– Действительно, уже пора. Васька совсем перевозбудился.

Она встала, прощаясь со всеми. Зал снова задвигался. Люди пробирались к нам, обнимали Олю, кивали мне или жали руку. Кто-то предлагал остаться, кто-то звал в гости. Подошёл Егор и стал что-то долго объяснять Оле, а когда я попытался вмешаться, не обратил особого внимания. Он звал её играть в теннис. Он делал это настырно, и хотя мысли Оли были заняты чем-то другим, Егор шёл в любовную атаку.

Я взял его за отворот рубашки, сжал кулак, а когда он начал дёргаться, приставил к его шее лезвие широкого ножа, оставившего на коже след взбитых сливок. Егор затих.

– Понял? – спросил я.

Я уже ослабил хватку, когда саблезубый тигр Чудин сжал мне запястье так, что нож вывалился из рук и, падая, разбил бокал с вином. Красное пятно расплзлось по скатерти.

Чудин свёл мои локти назад и потащил в прихожую, втолкнул и прикрыл дверь. Его кривое лицо не выражало злобы. Скорее, ему было любопытно.

– Ты чего? Напился? – спросил он, удерживая меня за рукав.

– Чудин, отпусти! – сказал я, одёргивая рубашку. – Мы уже закончили. Ты же видишь, я нормальный.

Чудин меня понимал. Через дверной просвет я слышал суету в зале и возгласы тёщи.

Скоро всё стихло. Глухой голос тестя навёл порядок. Я встал.

– Извинись там за меня, – сказал я. – Особенно перед Юрием Петровичем извинись. Я домой поехал. Оле скажи, пусть остаётся.

Чудин кивнул и проводил меня до двери, возле которой страдал пёс Чифир. Я потрепал его по большой голове.

Оля догнала меня во дворе. Машина стояла под снегом.

– Я на такси уеду, – сказал я, шаря по карманам в поисках телефона. – Завтра пригонишь машину.

Она потянула меня за ворота и вызвала такси сама.

* * *

Оля сидела на кровати, прижав колени к груди, и мерно раскачивалась. Я лежал на полу, наблюдая за её кривым отражением в окантовке полочной лампы.

Я не хотел извиняться. Я готов был извиниться только перед её папой. Придёт время – извинюсь.

Оля всхлипнула, принялась растирать нос, а потом долго сморкалась. Я повернул голову вбок. Её мокрые волосы заострились на висках. Она только что вышла из душа, закутанная в мой огромный халат. На лице её была невыносимая горечь, но это горечь была направлена внутрь неё самой, словно она раскусила чёрный перец.

– Иногда я вижу больше, чем хотел бы, – сказал я. – Почему ты не нападаешь на меня? Такое впечатление, что я прав.

Она молчала.

– Вы не особо скрывались, – сказал я. – Хотели показать, как всё обстоит на самом деле? Главную мысль я уловил. Правда, мне непросто смириться, сама видишь. Мне в самом деле хочется его убить. Но, возможно, я могу с этим справиться.

– Да ничего не было! – разрыдалась Оля, похожая в этом халате на молодой бутон.

– Я тебе верю. Мы ведь говорим в сослагательном наклонении: что было бы, если бы... Своими действиями я лишь приближаю это «бы». Но бездействие приближает его ещё скорее. Какой-то тупик, ей богу. Васька спит?

– Ничего не было! – снова разрыдалась она.

– Кое-что было, но ты можешь не рассказывать. Не думаю, что меня обрадуют подробности. Завтра я смогу убедить себя, что это не имеет значение.

Оля распрямилась и заговорила быстро:

– Это никак не связано с твоей болезнью. Просто я ему нравлюсь, вот и всё. Ты и раньше знал, что я нравлюсь мужчинам. Это что, преступление? Ничего не изменилось. Он ещё год назад мне строил глазки. Не принимай на свой счёт.

– Я и не принимаю. Но его глазки довольно настырны, и ты, по-моему, слегка засомневалась. Он правда того стоит? Я без сарказма спрашиваю. Он похож на Буратино.

– Хочешь правду? – заявила она с вызовом.

– Не хочу, но раз уж у нас такой доверительный разговор...

– Мне действительно предлагают подумать о нём! – выкрикнула она.

– Я даже знаю, кто тебе предлагает.

– Мы ужинали один раз! Понятно?! Всё! Мы только друзья. Просто некоторые считают, что он...

– Предсказуемый и надёжный, – продолжил я. – Самое паскудное, что я тебя понимаю.

– Что ты понимаешь?! – завопила она, вскакивая.

Шершавая подушка больно хлестнула меня по лицу.

– Псих ненормальный! – орала Оля, метеля меня подушкой. – Я сказала, что ничего не было! Не было ничего!

Скоро она выдохлась и упала на кровать. Я сел, закрывая ладонью ожог на щеке.

– Тебе предложили подумать, – повторил я. – Так ты подумала?

– Я не знаю.

– Это ведь тоже ответ.

Она взорвалась:

– Ты пропадаешь постоянно! Мы тебе не нужны! У тебя одни теории на уме! Я не знаю, что думать. Я не психиатр. Что с тобой происходит? Мы не понимаем друг друга. Я не давала ему никаких поводов! Я не давала...

Оля зарылась в подушку и зарыдала. На секунду мне захотелось разворошить её халат и заняться примирительным сексом, но это было как-то мелко. Её халат набухал теплотой, но эта теплота предназначалась не только мне. Я жуткий эгоист. Я единственный ребёнок в семье. Я не привык делиться.

Я нашёл под махровым воротником её лицо и поцеловал в горящую щеку:

– Не давала, и чёрт с ним. Папе извинения передай.

В клинику я вернулся в полтретьего ночи. Дежурная Марьяна выглядела сонной, потусторонней и совсем не удивлённой, словно приведения вроде меня возникают на пороге клиники регулярно.

* * *

Вечером воскресенья меня перевели в одноместную палату на втором этаже.

Ситель, объясняя резоны, выглядел сбитым с толку, отчего голос его звучал громче и задорнее, чем следовало бы.

Он не говорил об инциденте, но я догадался, что это звенья одной цепи. Кто-то ему рассказал. Может быть, тёща умоляла примотать меня к койке.

Новая комната располагалась на втором этаже недалеко от вип-номеров и семейной палаты. Окна выходили в торец здания, открывая вид на физиотерапевтический корпус и мрачную пятиэтажку диспансера. Через коридор была комната отдыха.

Палата оказалась маленькой, светлой и, в общем, уютной. Её стены были отделаны особым материалом, похожим на туристическую пенку. Окна открывались на миллиметровую щель. После десяти вечера палата закрывалась на ключ, а для вызова персонала имелись большие красные кнопки. Вода в умывальнике текла небольшими порциями после нажатия на рычаг.

– Вы же сами чувствуете, что ещё не готовы вернуться к полноценной жизни, – объяснял Ситель. – Но мы видим ваш прогресс, поэтому карантин не продлится долго.

В мой рацион добавили пару новых таблеток, причём одна из них была довольно интересной, с чётко отпечатанным клеймом – ювелирное изделие, а не таблетка.

Отсутствие в палате розеток Ситель ловко увязал с необходимостью хранить мой смартфон в подсобке возле комнаты отдыха, где были специальные ящички и множество розеток, чтобы санитары следили за их зарядкой. Пользоваться смартфоном мне разрешили по часу в день и только в комнате отдыха. Чайника не было. Вместо него – кулер с тёплой водой в коридоре.

В первую ночь я долго не мог заснуть из-за фонаря, который светил в окно. Я хотел передвинуть койку ближе к другой стене, но она оказалась прикрученной к полу.

Я лежал и думал о произошедшем. Ситель упоминал заведующего диспансером Цвикевича, который «готов помочь в силу своих возможностей», не уточняя, о каких возможностях идёт речь. Я вообразил, какую порку от Минздрава получил Цвикевич за то скандальное видео, которое опубликовал «Дирижабль», и мысленно отказался от его помощи, что бы он там ни предлагал.

Утром я принялся разбирать сваленные на столе вещи, которые вечером перенёс из старой палаты. Примитивный плеер, авторучка, несколько блокнотов, пакеты с чаем и быстросоздаваемой лапшой, папка, которую передал Скрипка и фотография Оли с Васькой, сделанная летом пошлого года. Я полез в карман толстовки, чтобы найти наушники от плеера, и нащупал капсулу с радиом, от которой нужно всё-таки избавиться, пока она не потерялась сама собой.

Мой переезд в новую палату не остался незамеченным. Утром в столовой Гарик громко анонсировал этот факт и через весь зал спросил, привязывают ли меня на ночь и удобно ли мне на месте короля. Его компанию это очень смешило.

Среди его кофлы я заметил новое лицо – парня примерно моих лет, бывшего военного, который попал в клинику с тяжёлым эмоциональным расстройством. Медсёстры звали его «лейтенантик» и говорили о нём сочувственно. Несмотря на тяжёлое потрясение, полученное, по слухам, в Сирии, лейтенант довольно яростно смеялся шуткам Гарика и смотрел на меня с таким презрением, словно я его крупно подвёл.

У выхода из столовой я встретил Галю и спросил её о Меце. Она посмотрела на меня в своей внимательной манере, словно видела мою ауру:

– Медсёстры говорят, заболел он. Совсем плохо стало.

– Плохо? В смысле?

– Сердце, наверное, – она приложила руку к своей груди и замерла, пытаясь расслышать под ней пульс Меца.

Чёрт возьми, Мец! Неужели это всё из-за того уroda на внедорожнике? Так не должно быть. Вся твоя злоба – она не настоящая. Эта чужая злоба досталась тебе от твоего отца или братьев, как одежда, которую нужно доносить. Почему ты не хочешь её снять?

Этого не понять тем, кто не имеет злобы. Тем, кто родился без чёрных мыслей.

Я пошёл в курилку, подставил табурет и сунул руку за трубу. Нож был на месте. Мец вернул его. Значит, он планирует вернуться. Просто ему нужно время.

* * *

Я лежал на кушетке и мочал. Говорить не хотелось. Танцырев ждал, и своим молчанием создавал нужную интенсивность вакуума, в который мои признания польются сами собой.

– Начните описывать вечер субботы, – попросил он. – В котором часу вы приехали?

В котором часу... Старомодное выражение, столько же неубедительное, как венская обстановка танцыревского кабинета. Я даже не помню, в котором часу.

– Вы думаете о чём-то сейчас. Расскажите. Всё что угодно.

– Рассказать? – переспросил я. – Хорошо. Я думаю, что вы шарлатан. Продолжать?

– Конечно.

– Видите? Вас даже не задевает. Разве это нормальная человеческая реакция? Вы не воспринимаете меня всерьёз. Кто я? Ещё один идиот с богатыми родственниками. Просто случайный попутчик.

– Я так не думаю.

– Думаете, думаете. Вы думаете: «Как интересно, у него появилось сопротивление. Какой любопытный симптом! Мы наверняка близки к разгадке». А вы не считаете, что ваши интерпретации и выводы – это просто фантазии? Что нет никакого символизма?

– Иногда банан – это просто банан, – согласился голос Танцырева.

– Иногда? Всегда! Если дать человеку выговориться, ему станет легче. В этом весь метод. А вся психоаналитическая мура нужна только для того, чтобы брать побольше денег. Вы про-

даёте людям овёс по цене пармезана, упаковывая его, как пармезан. Мне надоело вам подыгрывать.

– Разговор действительно является хорошей терапией. Но иногда нужно читать между строк.

– Вы даже не слушаете меня. Вы думаете о своём доме, который построите следующим летом, угадал? Вот ваша настоящая страсть.

Танцырев усмехнулся:

– Вы ревнуете к моему будущему дому?

– Нет. Но вы ведь не женаты? Для кого вы строите эти хоромы? Для медсестричек?

– Некоторые ваши слова действительно меня задевают.

– Ну и что? Вы сами напросились. Я не понимаю, как нормальный человек может стать психоаналитиком. Слушать чужие бредни про эрекцию, поллюции, мастурбацию...

– Это тоже часть нашей жизни. Хирурги не испытывают отвращения от вида кишок.

– У вас на всё готов ответ! А я знаю, что вас привлекло. Вас привлёк этот венский кабинет. Посмотрите на себя: причёска, как у доктора Фрейда, борода, как у доктора Фрейда. И деньги! Много денег! Вы ведь даже получили диплом какого-то немецкого университета. Кстати, а почему не венского? Какой нелепый просчёт.

Я услышал движение за спиной. Танцырев вышел из-за стола, поставил напротив кушетки стул и сел на него верхом, облокотившись на спинку. Я поднялся рывком. Закружилась голова.

Танцырев несколько секунд смотрел на меня. Кажется, мне удалось его задеть. Он заговорил:

– Я поступил на факультет психологии, потому что думал, что психология – интересная наука. Я быстро разочаровался и перевёлся в другой институт. В психоанализ я попал случайно благодаря одному старому профессору. У меня состоятельные родители. Я действительно учился в Германии. В молодости я считал себя знатоком человеческой природы, но это оказалось заблуждением. Мне понадобилось много времени и сил, чтобы разобраться со всем и найти своё место. Большая часть работы психоаналитика – это извлечение пустой породы. От этого действительно устаёшь. Но единственный драгоценный камень стоит всех усилий.

Он отпил воды и продолжил.

– Вы правы: мне хорошо платят. Психоанализ в моде. Я действительно строю дом и много думаю о нём. Иногда я спрашиваю себя: остался бы я в профессии, если бы мне платили меньше? И отвечаю: остался бы. Вы считаете себя случайным попутчиком, но я смотрю на всё по-другому. Люди кажутся одинаковыми лишь при поверхностном знакомстве. Чем больше узнаёшь человека, тем больше в нём уникальности. И, поверьте, случаев вроде вашего в моей практике ещё не было.

Он так разгорячился, что даже покраснел.

– Спасибо, что объяснили, – ответил я, глядя в пол.

Мне стало слегка стыдно.

– Стоп! – Танцырев привлёк моё внимание жестом.

Он смотрел прямо на меня. Прямые брови держали на весу его тяжёлый косоватый взгляд, словно крылья самолёта.

– Вы ещё злитесь. Продолжайте злиться. На кого вы злитесь?

– На вас. Вы же пристаёте.

– На кого ещё?

Я пожал плечами. Танцырев вдруг стал резким, как военрук:

– Ну-ка, сосредоточьтесь! О ком вы подумали? Продался за деньги? Борода, как у Фрейда? Ну? Посмотрите на меня – у меня нет бороды.

Он провёл рукой по гладкому подбородку.

– О ком вы думали? – допрашивал он. – Кто из ваших знакомых носил бороду? Ну? Человек с бородой? Кто это?

– Отец?

– Вот, – подытожил Танцырев, обмякая.

Шея его покрылась аллергической краснотой. Я повалился на кушетку и сказал муже:

– Отец носил бороду, но он никому не продавался. Он в университете преподавал.

– За что же вы на него так злы?

– Это ложный след.

– Ладно, – выдохнул Танцырев. – К этому мы ещё вернёмся. Поговорим о субботнем вечере.

Моя строптивость куда-то исчезла. Я пересказал Танцыреву всё, что произошло, стараясь не упускать деталей, вплоть до момента, когда я приставил нож к горлу Егора. Танцырев попросил описать Егора.

– Не знаю... – задумался я. – Клерк с болезненным эго. Болтает всякую чушь. Он вроде важная шишка. Целый коммерческий директор. Что ещё? Клеился к моей жене. По-моему, он не в её вкусе, но сейчас я уже не уверен. По крайней мере, она его не гонит.

– Что вас спровоцировало?

– Он влез на мою территорию, меня это взбесило. Это наша природа. Инстинкт.

– Это сделали вы или некая «природа»? – последнее слова Танцырев произнёс с презрением, словно бы я сказал ужасную глупость.

– А где граница? Где я и где моя природа? Что такое я в дистиллированном виде? Мы смотрим на мир через тысячи разноцветных стёкол. Вы говорите: давайте уберём стекла. Хорошо, давайте уберём. И что останется? Как выглядит абстрактное «Я», лишённое всякой окраски? Если я вижу мир в розовых или багровых тонах, кто в этом виноват: я или цветные стёкла? И откуда они берутся? Это я их вынимаю или природа сделала нас такими?

– Вы уклоняетесь от ответа.

– Я не уклоняюсь. Я пытаюсь разобраться. Если вам нужен крайний, я готов взять ответственность. Мне и сейчас хочется вспороть ему брюхо.

– Хорошо, подождите, – Танцырев молчал несколько секунд, а потом попросил: – Представьте себя сидящим на том диване. Ваша супруга Ольга танцует с Егором. Представили? Расскажите мне. Любые ассоциации.

Я погрузился в воспоминание. Розовый блик скользил по Олиной спине, превращаясь в руку Егора.

– Ревность, – сказал я. – Банальная ревность. И возбуждение. Почему-то меня это возбуждает. Как будто я ощущаю то, что ощущает он. Ощущаю через него. Это какой-то бред.

– Что вокруг вас?

– Оглушительная музыка. Воздух спрессован. Плотный тяжёлый воздух. В зале очень душно. Под потолком вращается такой блестящий шар, как на дискотеках.

– Что вы описываете?

– Это выпускной после одиннадцатого класса в школе. После смерти отца. Парни пьют водку, а девчонки красное вино. Мерцает стробоскоп. Контуры танцующих похожи на кривые деревья.

– Что произошло на вашем выпускном?

– Да ничего особенного.

– А всё же?

– Не знаю. Напился и переспал с одноклассницей. Утром обоим было неудобно. Вот и всё. Её звали Женя. Да, Женя Остапшина. Глупо получилось.

– Хорошо, Женя Остапшина. Опишите её.

– Она была племянницей нашей учительницы литературы Инги Михайловны. Мы с Женей проучились лет восемь, но я её почти не знал. Она казалась немного шальной. Может быть, в семье что-то не ладилось.

– Почему она привлекла вас тогда?

– Я не помню. Она танцевала с кем-то, я подошёл, мы заговорили. Всё как-то само получилось.

– Вы чувствовали ревность? Возбуждение?

– Конечно. Я пьяный был. Мы нашли пустую комнату с коробками, стали целоваться, а потом... Это очень плохо было, поспешно и неуклюже.

– Такая импульсивность нехарактерна для вас?

– Вероятно. Женька мне особенно не нравилась. Мне иногда хочется найти её, чтобы извиниться. Я надеюсь, она отнеслась к этому легко. У неё потом был какой-то парень.

– Какая связь между этими инцидентами: вашим нападением на Егора и случаем на выпускном?

– Я не знаю. Никакой, наверное.

– Почему вы об этом вспомнили?

– Просто вспомнил.

– Это сделали вы или не вы? Вспоминайте. Статью о «Заре» выложили вы или не вы?

Я надолго замолчал. Время сеанса подходило к концу.

– О чём вы сейчас думали? – спросил Танцырев. Каким-то образом он всегда угадывал перемены моего ума.

– Об Алисе. Она заходила недавно. Здесь нет никакой связи. Давайте прервёмся. Я правда устал.

* * *

Вечером я вышел в комнату отдыха и попросил у дежурного телефон. Тот долго копался в подсобке и безразлично протянул мне аппарат, на обратной стороне которого был яркий стикер с временем выдачи. Телефон нужно было вернуть через час.

Я вышел из комнаты отдыха, отыскал тихий угол и набрал Олю. Я был почти уверен, что трубку она не возьмёт и не перезвонит.

– Алло, – услышал я довольно быстро.

За эти годы я научился определять её настроение, и, если ждал новостей, одного Олиного «Алло» было достаточно, чтобы понять, хорошие они или плохие. Сейчас «Алло» было нейтральным и, может быть, чуть удивлённым – так отвечают, когда внезапно звонит близкий друг, с которым не виделись много лет. В этом «Алло» было и облегчение, и настороженность, и теплота, и немного усталости.

Я настраивался на разные сценарии. Я готовился отражать Олины упрёки или мириться с её молчанием, но это тянущее «Алло» сбilo меня с толку. Она сразу отдала мяч на мою половину.

Разговор получился спокойным и ровным. Так Оля объяснялась с пациентами, если они звонили в неурочное время.

Мне хотелось свернуть к теме, которая волновала обоих, но в цепочке необязательных фраз не нашлось разрыва. Оля обещала заехать в среду.

Я вернулся в комнату отдыха и несколько минут листал новостные сайты, не понимая ни одного заголовка. Я машинально кликал на знакомые слова, например, на фамилию Братерского, но смысл написанного ускользал. Губернатор, госконтракт, помощник депутата, 200 миллионов рублей, концессия, выборы...

По телевизору шёл репортаж про Керченский мост. Фёдор, игравший в шахматы с незнакомым пациентом, то и дело отвлекался, чтобы швырнуть порцию аргументов в вертлявого Колю. Тот стоял посреди комнаты, раскидывал в стороны руки и напоминал садовое пугало.

Он порывался уйти, оставив за собой последнее слово, но очередная словесная оплеуха Фёдора вынуждала его разрядить ещё одну обойму:

– Какая инфраструктура? – голос Коли звучал фальцетом. – Вы давно были в российской глубинке? Люди живут в нищете, потому что вместо дорог, школ и больниц вся страна корячится на Крымский мост!

Фёдор разворачивался к нему в анфас, довольный, как Шалтай-Болтай, и с армейской чеканностью выгружал на Колю штабель доводов, загибая на руке толстые пальцы. Деньги, пущенные на Крым, не имеют отношения ни к дорогам, ни к больницам, доказывал Фёдор, вызывая у Коли приступ истерического смеха. Выключив звук, их можно было принять за пару друзей.

Минут через десять спорщики форсировали Керченский пролив и оказались по ту сторону моста, разлагая на молекулы сам Крым. Коля кричал, что во всём мире нас считают оккупантами, и, глядя на него, несложно было представить почему. Тощий, взлохмаченный Коля выглядел драматично, как фриц с карикатуры времён советской пропаганды.

– Мы ещё от имперских грехов не отмылись, а нас уже снова ненавидят! – кричал он.

– Это вас ненавидят. И каких ещё имперских грехов? Вы историю поучите, уважаемый. Россия никогда не была агрессором.

– А Прибалтика? А Чехословакия?

– Вы посчитайте, сколько электростанций, школ и дорог мы построили в сопредельных государствах за годы Советской власти! Да Средняя Азия до сих пор бы жила в Средневековье! Так выглядит оккупация?

От их возгласов мне стало тошно. Я стал думать о том, как чувствует себя ребёнок, когда ссорятся отец и мать. Ребёнок понимает обе стороны, но не понимает, почему они видят только разность, но не видят общности. Это задевает его, потому что, отрицая общность, они отрицают и его самого. Ребёнок слышит в голосах родителей аргументы бабушек и дедушек, коллег по работе и друзей, которые через его родителей ведут заочный спор. Пропасть становится такой, что держать за руки обоих становится всё сложнее. Но они этого не замечают.

Мои родители ссорились не так часто. Может быть, я чувствую чужую досаду? Может быть, это досада Васьки? Как он смотрит на наш с Олей разлад? Замечает ли он трещины?

Всё, что нужно ребёнку, – это дом, полный любви. Когда-то у меня был такой дом, но он распался. Я думал, что нашёл другой дом для своего сына. Теперь рушится и он.

Мы преуспели в умении рушить. Блабериды – это кислотная среда, которая растворяет всё вокруг. Наши позы важнее смыслов, наши амбиции важнее любви. Мы – прожорливая ненасытная масса, которая пожирает собственный термитник. Мы растворяем всё: от глобального миропорядка до отдельной семьи. Мы хотим быть богами, но в этом желании отдаляемся от Бога всё дальше.

Братерский бы сказал, что в мире происходит некий процесс, и, может быть, он похож на плавление металла перед заливкой его в новую форму. Меня вполне устраивает это объяснение за исключением того, что я ощущаю это плавление в себе, и оно выжигает меня изнутри.

Это плавление не кончится. Они уничтожают друг друга. Патриоты и либералы, физики и гуманитарии, логики и мистики. Если бы их спросили, какой частью мозга они готовы пожертвовать, что бы они ответили? Они бы не отдали и квадратного миллиметра. У мозга нет правильных и неправильных частей. Он работает как единое целое. Но здесь они готовы отсечь целое полушарие, потому что это полушарие думает не так, как они. Это даже не лоботомия – это шизофрения. Глухота одних нейронов к другим.

Я вернул телефон санитару и пошёл в палату, где у лестничной клетки наткнулся на Турова. Он спускался с третьего этажа.

– Ваши жилищные условия улучшились? – спросил он хитро, кивая на дверь моей новой палаты.

– Ну, как сказать, – ответил я неопределённо.

Турову хотелось поговорить.

– Полагаю, вас ждёт ещё несколько повышений? – спросил он, подходя ближе.

Он намекал на моё знакомство с Братерским. Я ответил сухо:

– Таких разговоров не шло.

Он оживился:

– Не шло, так пойдут. А вы сами как настроены?

Я ответил, что не думал, и стал открывать дверь. Моё нежелание говорить Туров интерпретировал по-своему и понимающе кивнул.

– Я завтра уезжаю, – доложил он. – Возвращаюсь в большой мир.

– Поздравляю, – ответил я.

* * *

Проснулся я от голоса и оживления, которое царило за дверью. Было темно.

Из-за двери неслись стуки, отрывистый смех и кряхтение половиц. Громко тикали часы. Я приподнялся и стал разглядывать циферблат, но увидел лишь серое пятно.

Лежать было жёстко. Сундук, на котором нам иногда разрешали спать, был набит барахлом, и рыться в нём строго запрещалось. Поверх сундука мама кидала старые одеяла, за ночь они сбивались и резали рёбра.

Клин света решительно бил через приоткрытую дверь. Он высвечивал висящие на стене веники и колготки, набитые луком. Лук пахнул как старый носок.

К голосам за дверью добавился звон посуды. Садись завтракать.

– Никитка, – шёпотом позвал я и толкнул его в бок. – Спишь? Эй, Кит! Просыпайся!

Он заворчался, стянул одеяло с лица и сел, рассеянно оглядываясь.

– Мама встала? – спросил он шёпотом.

Его светлые волосы торчали в стороны, словно молодой подсолнух.

– Все уже встали. Давай скорее!

Мы соскользнули с сундука и распахнули дверь. Я хотел примять его волосы, но он сердито скинул мою руку. Мы вышли в сени. Здесь стоял интересный запах, словно брёвна, из которых сложен дом, дали сахарный сироп.

– О, проснулись, сони! – услышал я голос отца. – Умываться! И порезвее, а то без вас начнём.

Отец сидел на кухне с развёрнутой во всю ширь газетой. Кит сонно пошёл к нему, но я толкнул его в сторону рукомойника. Водопровода не было: вода из алюминиевой ёмкости текла через раковину сразу в ведро. Мы слегка потолкались возле умывальника.

На кухне бабушка размешивала что-то в огромном чане, из которого поднимался густой пар. Кит сморщился, и я тоже: запах был тяжёлый и густой, словно бабушка варила старые подошвы.

– Это же грибы! – воскликнула мама, заметив наши гримасы.

– Гадость, – ответил Кит, забираясь на лавку и лениво растирая левый глаз.

– Тоже мне, знаток, – фыркнула мама.

– И выглядит как слизь, – подтвердил я.

Отец рассмеялся:

– Слизь! Не слизь, а подлива.

– Фу, тянется, как сопли, – пробормотал Кит.

Он положил голову на руки и стал похож на лохматого щенка. На его щеке пропечатался морщинистый след подушки.

– Гляди, у тебя кожа отваливается, – пошутил я, но он лишь толкнул меня локтем.

Мама держала огромную чёрную сковороду, счищая с её боков сажу. Сковороде был лет пятьдесят. В кухне стоял кислый запах газа, всё же более приятный, чем грибной дурман.

– Фу, меня тошнит, – заявил Кит, и я тоже почувствовал тошноту. Мы с ним всегда чувствовали одинаково.

– А наши вчера продули, – сказал папа, сворачивая газету. – В Мюнхене играли против немцев. Не хватило одного очка. 71 на 70.

Они принялись обсуждать матч и какого-то Базаревича.

Треугольный кусок масла плыл по чёрной сковороде. «Парус», – шепнул мне Кит. «Айсберг», – шепнул я в ответ. За айсбергом тянулся жёлтый след.

Жулька сидела у маминых ног и заглядывала ей в лицо. Жулька была маленькой, но прожорливой болонкой, поэтому надеялась, что мама уронит что-нибудь или даст ей просто так.

Мы заворожённо смотрели, как мама разбивает яйца. У неё это ловко получалось: она хлопала яйцом по краю, и жёлтый глаз выскальзывал в центр сковороды с проворностью циркового тюленя. Заметив наше внимание, папа сказал:

– Однажды мама так торопилась, что отправила желток себе прямо в рукав.

Кит хрипло засмеялся, и я вместе с ним. Мне нравилось, что он смеётся так заливисто.

Мама ответила:

– Если бы меня кое-кто не торопил, ничего бы не случилось.

– Как ты достала желток из рукава? – спросил я.

– Никак, – ответил папа. – Она пожарила рукав и получилась гренка.

Кит снова хрипло засмеялся.

Папа с шумом отпил из кружки. В его бороде и усах блестели мелкие капли.

– А ты бороду шампунью моешь или с мылом? – спросил я.

– Ещё шампунь на неё переводить, – фыркнула мама.

Кит ел только белки, а я – только желтки, поэтому мама называла нас безотходным производством. А папа говорил, что нам нужно также есть орехи: один середину, другой кожуру. Мы с Китом не могли договориться, кто из нас любит кожуру. Ты! Нет ты! А ты двухвостку ел! Я её только лизнул. Вот и ешь кожуру!

Во дворе было жарко и пахло мелкой травой, которая росла в тени ворот. У этой травы был особенный запах, словно всю ночь её давили пятками земляные духи, которые жили в саду, а утром гуляли по росе.

Пёс Дракон лежал у будки. Подходить к нему запрещалось, он это знал и переживал больше нас, печально вращая глазами. Когда он вставал, цепь его громко звенела. Нам с Китом было жалко Дракона, но мы его побаивались, поэтому сразу проскользнули в сад.

Деревья здесь росли так густо, что, когда тень на земле качалась, казалось, что качается планета. В саду было интересно. Здесь был верстак с заржавленными тисками и перевёрнутое корыто, под которым полно мокриц. Ещё здесь стоял стол с циркулярной пилой, трогать которую запрещалось. Вокруг росло много цветов.

Мне нравились тигровые лилии, потому что цветом они напоминали леденцы. И свет в этой части сада тоже был тигровым, полосатым и потусторонним, оставляя на бревенчатой стене дома мохнатые тени. Выше них было круглое окно, а за стеной – наш чулан со старым сундуком.

Кит сунул руки в кучу песка, которую привёз дед, и хрипло засмеялся:

– Я песочный сатана!

– Какой сатана?

– Чёрт такой, – он показал рога. – Дед Захар вчера говорил.

К полудню стало жарко. Я предложил пойти в шалаш и сварить суп из подорожников, а Кит решил ехать в город. Иногда нас возили туда родители, но в обмен приходилось мерить колючую одежду, поэтому мы давно планировали сбежать самостоятельно.

Мы перелезли через забор, дошли до остановки, забрались в пустой автобус, уселись на первое место над колесом и всю дорогу смотрели через роскошное лобовое стекло

с бахромой поверху. Мне нравились длинные пальцы рычажков, которыми водитель открывал и закрывал двери.

Нас спугнула сердобольная старушка, приставшая с расспросами, от которых Кит выскочил на какой-то остановке и крикнул вслед: «Мы из дома сбежали!».

Мы дошли до маленькой улицы, состоящей из старых многоэтажных домов с витринами на первых этажах. Липы отбрасывали короткие тени, похожие на причёску соседки.

Всё вокруг казалось таким чётким, словно с города сняли упаковочную плёнку и подмешали в воздух немного розовой краски.

Вдоль улицы стояло много необычных машин, и мы с Китом, подсаживая друг друга, старались заглянуть внутрь.

Люди в городе одевались ярко и несли в руках красивые пакеты с разными рисунками. С лотка под тряпичным навесом торговали бутербродами, завернутыми в целлофан. На углу стояла бочка с квасом, но Кит захотел мороженого.

Мы злорадно шли мимо магазинов, потому что сегодня некому было загнать нас туда, заставляя расхаживать в тяжелой зимней обуви и спрашивая: «Ну как? Не жмёт?».

Иногда мы срывались на бег, но от этого у меня разболтался сандаля, и хлястик вылетел из пряжки. Кит, высунув язык, принялся чинить пряжку, ободрав о неё пальцы.

Мы дошли до фонтана. На скамейках вокруг сидело много людей. В пушистой водяной пыли дрожала радуга. Мальчишка нашего возраста носился вокруг фонтана на самокате с надутыми колёсами от велосипеда «Лёвушка». Кит смотрел на него с завистью.

Мы забрались на фонтанный парапет, сняли сандалии и сунули ноги под струи, чтобы смыть остатки песка. Ледяная вода казалась колючей.

Потом мы отправились на поиски мороженого. На красных шортах Кита проступили мокрые следы, похожие на птицу. Я нашёл лоток с леденцами, но Кит упёрся и сказал, что будет только мороженое.

– Томатное есть. Будете брать? – высунулась из киоска голова страшной рыжей женщины, и нам совсем расхотелось томатного.

Мы побежали дальше.

– Томатное для стариков, – рассуждал Кит. – Дед Захар его любит.

– Он всё любит. Он даже грибы ест. И селёдку с костями.

В старом парке мы покачались на скрипучих качелях, а потом прыгали на заброшенной эстраде, которая показалась мне знакомой.

– У тебя бывает такое, словно это с тобой уже было? – спросил я.

– Бывает. Дед Захар говорит, это потому что ты когда-то уже жил.

Мы пошли к выходу по короткой дороге через кусты и наткнулись на кирпичную будку, у которой не было стены. Внутри оказался чёрный провал. Здесь летало много мух. Они так гудели, что Кит подумал, будто внизу оголённый провод.

– Провода всегда так гудят, – уверял он.

Мы постояли перед провалом, глядя на огромных зелёных мух, красивых и отвратительных одновременно.

– Слабо туда спуститься? – спросил Кит.

– Сам прыгай. Раз мухи, значит, там дерьмо.

Из провала веяло холодом.

– Никакого дерьма там нет. Там подземелье, – настаивал Кит.

– Врёшь ты всё.

– Спустись сам.

– Не хочу. Откуда ты знаешь?

– Я там уже был.

– Вот врун! – я толкнул его и пошёл дальше.

Он обогнал меня и помчался через кусты, крича:

– Бежим к выходу!

Мы выскочили на пустынную детскую площадку со сломанными горками и облезлыми каменными скульптурами. В центре стоял Буратино, раскинув руки и глядя на нас единственным глазом. Из его сломанного носа торчал металлический каркас. На стене, отделявшей площадку от кустов, виднелись бледные рисунки – герои советских мультфильмов.

– Карлсон, – тыкал пальцем Кит. – Винни Пух. Волк из «Ну, погоди!». Алиса.

– Какая Алиса?

– В стране чудес.

– Это не Алиса. Это Дюймовочка. Вон, жук рядом. Пошли уже.

– Не жук, а таракан какой-то.

Потом мы долго бродили по улицам и никак не могли найти киоск с мороженым: некоторые были заброшены, другие закрыты. Кит хотел зайти в магазин, но кассир привстала и так глянула на нас, что мы убежали.

Мокрая сандалия натёрла мне ногу, я захромал, а скоро совсем остановился. Сначала мне даже нравилось, потому что от трения шло приятное тепло, но потом зажгло, а кожа стала алой, как чехол папиного калькулятора. Мы уселись на автобусной остановке, я стянул сандалию, Кит дул со всей силы, только это не помогало. Тем более дул он мимо.

Мы решили ждать, пока рана заживёт. Кит побежал до перекрёстка посмотреть, не продают ли там мороженого. Я ещё долго видел его белобрысую лохматую голову, которая мелькала, как подхваченная ветром бумага.

Люди появлялись на остановке и тут же исчезали в зазеркалье автобусных стёкол. Иногда меня спрашивали о чём-то, но я твердил, что мама сказала ждать.

Мне стало страшно. Я разглядывал таблички подъезжающих автобусов, но они скрывались так быстро, что я не успевал ничего разобрать. Мне стало обидно, что все меня бросили. Глаза набухли от горячих слёз.

Подъехал жёлтый автобус, зашипел и слегка накренился в мою сторону. Средняя дверь открылась прямо напротив меня, но никто не вышел. Что-то внутри автобуса свистело и вздыхало. От него пахло гарью. Мне не нравилось, что он стоит так близко и никак не уедет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.